Николай
Карамзин

Бедная Лиза



классика в школе

Бедная Лиза (сборник)

Николай Михайлович Карамзин

Аннотация
Николай Карамзин. Бедная Лиза (сборник)
Автобиография
Бедная Лиза
Остров Борнгольм
Сиерра-Морена
Наталья, боярская дочь
Лиодор
Юлия

Аннотация

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.

В книгу включены произведения Н. М. Карамзина, которые изучают в 9-м классе.

Николай Карамзин
Бедная Лиза (сборник)

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

* * *

Автобиография

Надворный советник Николай Михайлов сын Карамзин родился 1-го декабря 1766 года в Симбирской губернии; учился дома и, наконец, в пансионе у московского профессора Шадена, от которого ходил также и в разные классы Московского университета. Служил в гвардии. Первыми трудами его в словесности были переводы, напечатанные в «Детском чтении». По возвращении своем из чужих краев издавал два года «Московский журнал», после — «Аглаю», «Аониды» и «Вестник Европы». Полные сочинения его напечатаны в восьми томах. Он перевел еще Мармонтелевы повести и многие мелкие сочинения, изданные под именем «Пантеон иностранной словесности». В 1803 году сделан российским историографом и с того времени занимается сочинением «Российской истории».

Бедная Лиза

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си…нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного *амфитеатра:* великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных

стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, — стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, — печальные картины! Здесь вижу седого старца,

преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит — и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет — и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества — печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си…нова монастыря — воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те

предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего — ибо и крестьянки любить умеют! — день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, — которая осталась после отца пятнадцати лет, — одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь — ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и продавала их в Москве. Чувствительная,

добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери. «Бог дал мне руки, чтобы работать, — говорила Лиза, — ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих — ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. — «На том свете, любезная Лиза, — отвечала горестная старушка, — на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть — что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».

Прошло два года после смерти отца Лизи-

на. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы — и закраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» — спросил он с улыбкою. — «Продаю», — отвечала она. — «А что тебе надобно?» — «Пять копеек». — «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». — Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, — еще более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. — «Для чего же» — «Мне не надобно лишнего». — «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня». — Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку. — «Куда же ты пойдешь, девушка?» — «Домой». — «А где дом твой?» — Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала мате-

ри, что с нею случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек…» — «Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос…» — «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю господа бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». — У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем. — На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.

«Что с тобой сделалось?» — спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела. — «Ничего, матушка, — отвечала Лиза робким голосом, — я только его увидела». — «Кого?» — «Того господина, который купил у меня цветы». Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего. «Здравствуй, добрая старушка! — сказал он. — Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей — может быть, для того, что она его знала наперед, — побежала на погреб — принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, — схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил — и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении — о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч., и проч. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были — нужно ли

сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блестит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. — «Мне хотелось бы, — сказал он матери, — чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам». — Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правою рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. — Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. «Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин?» — спросила старуха. — «Меня зовут Эрастом», — отвечал он. — «Эрастом, — сказала тихонько Лиза, — Эрастом!» Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. — Эраст простился с ними до свидания и по-

шел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка! Матушка! Как этому статься? Он барин, а между крестьянами…» — Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим

радостям», — думал он и решился — по крайней мере на время — оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь — мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. — Между тем молодой

пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, — и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: «Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей». Он взглянул бы на меня с видом ласковым — взял бы, может быть, руку мою… Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум весел — взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке — Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и — мечта ее отчасти исполнилась: ибо он *взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку…* А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем — не могла отнять у него руки — не могла отворотиться, когда он приближился к ней с розовыми губами своими… Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким

жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящею! «Милая Лиза! — сказал Эраст. — Милая Лиза! Я люблю тебя», и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и… Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость — Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, — смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: «Люби меня!», и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться. «Ах, Эраст! — сказала она. — Всегда ли ты будешь любить меня?» — «Всегда, милая Лиза, всегда!» — отвечал он. — «И ты можешь мне дать в этом клятву?» — «Могу, любезная Лиза, могу!» — «Нет! мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?» — «Нельзя, нельзя, милая Лиза!» — «Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!» — «Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего сказывать». — «Для чего же» — «Старые люди бывают подозрительны.

Она вообразит себе что-нибудь худое». — «Нельзя статься». — «Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова». — «Хорошо: надобно тебя послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее». — Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видеться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видеться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!» — думала она и восхищалась сею мыслию. «Ах, матушка! — сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. — Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!» — Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно, в самом деле, показалось ей отменно прият-

ным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. «Ах, Лиза! — говорила она. — Как все хорошо у господа бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали». А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины) — дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого

друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались — но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия. «Когда ты, — говорила Лиза Эрасту, — когда ты скажешь мне: «Люблю тебя, друг мой!», когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме — Эраста. Чудно! Чудно, мой друг, что я, не знав тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен». — Эраст восхищался своей пастушкой — так называл Лизу — и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми *страстная дружба* невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я бу-

ду жить с Лизою, как брат с сестрою, — думал он, — не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» — Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. «Я люблю ее, — говорила она, — и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого». — Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться — до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!» — Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он ис-

пугался; глаза ее от слез покраснели. «Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?» — «Ах, Эраст! Я плакала!» — «О чем? Что такое?» — «Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла». — «И ты соглашаешься?» — «Жестокий! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!» — Эраст целовал Лизу, говорил, что ее счастие дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. — «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!» — сказала Лиза с тихим вздохом. — «Почему же» — «Я крестьянка». — «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, — и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».

Она бросилась в его объятия — и в сей час надлежало погибнуть непорочности! — Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей — никогда Лиза не казалась ему столь прелестною — никогда ласки ее не трогали его

так сильно — никогда ее поцелуи не были столь пламенны — она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась — мрак вечера питал желания — ни одной звездочки не сияло на небе — никакой луч не мог осветить заблуждения. — Эраст чувствует в себе трепет — Лиза также, не зная отчего — не зная, что с нею делается… Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где — твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал — искал слов и не находил их. «Ах, я боюсь, — говорила Лиза, — боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя… Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое?» — Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. «Эраст, Эраст! — сказала она. — Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!» Грозно шумела буря, дождь лился из черных облаков — казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. — Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним. «Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежне-

му счастливы!» — «Будем, Лиза, будем!» — отвечал он. — «Дай бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем… Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся».

Свидания их продолжались; но как все переменилось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы — одними ее любви исполненными взорами — одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, — а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение *всех* желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспалял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог *гордиться* и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастие. Она видела в нем перемену и часто говорила ему: «Прежде бывал ты веселее, прежде бывали мы покойнее

и счастливее, и прежде я не так боялась потерять любовь твою!» — Иногда, прощаясь с ней, он говорил ей: «Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело», — и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал ей: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход». — Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностию любви, спросила: «Тебе нельзя остаться?» — «Могу, — отвечал он, — но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества». — «Ах, когда так, — сказала Лиза, — то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить». — «Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза». — «Я умру,

как скоро тебя не будет на свете». — «Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу». — «Дай бог! Дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе — о слезах своих!» — «Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала». — «Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое». — «Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся». — «Буду, буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!»

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиной матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что *ласковый, пригожий барин* ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору,

принадлежит мне». — Старушка осыпала его благословениями. «Дай господи, — говорила она, — чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!» — Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее — и наконец скрылся — воссияло

солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя — и свет показался ей уныл и печален. Все приятности натуры сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах! — думала она. — Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертию своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» — Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: «У меня есть мать!» — остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. — С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда — хотя весьма редко — златой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как все переменится!» — от сей мысли прояснялся взор

ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. — Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретилась ей великолепная карета, и в сей карете увидела она — Эраста. «Ах!» — закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя — в Лизиных объятиях. Он побледнел — потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей — возьми их, — он положил ей деньги в карман, — позволь мне поцеловать тебя в последний раз — и поди домой». — Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора».

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать

его — но язык мой не движется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? — Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства — жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице и в таком положении, которого никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!» — вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза — встала с помощию сей доброй женщины, — благодарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить, — думала Лиза, — нельзя!.. О, если бы упало

на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!» — Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость — осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, — кликнула ее, вынула из кармана десять империалов и, подавая ей, сказала: «Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке — они не краденые — скажи ей, что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, — к Э… На что знать его имя? — Скажи, что он изменил мне, — попроси, чтобы она меня простила, — бог будет ее помощником, — поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую, — скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, — скажи, что я…» Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в деревню — собрались люди и вытащили Лизу, но она была

уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы *там,* в новой жизни, увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела — глаза навек закрылись. — Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могилке. — Теперь, может быть, они уже примирились!

1792

Остров Борнгольм

Друзья! прошло красное лето, златая осень побледнела, зелень увяла, дерева стоят без плодов и без листьев, туманное небо волнуется, как мрачное море, зимний пух сыплется на хладную землю — простимся с природою до радостного весеннего свидания, укроемся от вьюг и метелей — укроемся в тихом кабинете своем! Время не должно тяготить нас: мы знаем лекарство от скуки. Друзья! Дуб и береза пылают в камине нашем — пусть свирепствует ветер и засыпает окна белым снегом! Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки и повести, и всякие были.

Вы знаете, что я странствовал в чужих землях, далеко, далеко от моего отечества, далеко от вас, любезных моему сердцу, видел много чудного, слышал много удивительного, многое вам рассказывал, но не мог рассказать всего, что случилось со мною. Слушайте — я повествую — повествую истину, не выдумку.

Англия была крайним пределом моего путешествия. Там сказал я самому себе: «Отечество

и друзья ожидают тебя; время успокоиться в их объятиях, время посвятить страннический жезл твой сыну Ману[1], время повесить его на густейшую ветвь того дерева, под которым играл ты в юных летах своих», — сказал и сел в Лондоне на корабль «Британию», чтобы плыть к любезным странам России.

Быстро катились мы на белых парусах вдоль цветущих берегов величественной Темзы. Уже беспредельное море засинелось перед нами, уже слышали мы шум его волнения — но вдруг переменился ветер, и корабль наш, в ожидании благоприятнейшего времени, должен был остановиться против местечка Гревзенда.

Вместе с капитаном вышел я на берег, гулял с покойным сердцем по зеленым лугам, украшенным природою и трудолюбием, — местам редким и живописным; наконец, утомленный жаром солнечным, лег на траву, под столетним вязом, близ морского берега, и смотрел на влажное пространство, на пенистые валы, которые в бесчисленных рядах из мрачной отдаленности неслися к острову с глухим ревом. Сей унылый шум и вид необозримых вод начинали склонять

---

[1] Сноски: 1

Во время древности странники, возвращаясь в отечество, посвящали жезлы свои Меркурию.

меня к той дремоте, к тому сладостному бездействию души, в котором все идеи и все чувства останавливаются и цепенеют, подобно вдруг замерзающим ключевым струям, и которое есть самый разительнейший и самый пиитический образ смерти; но вдруг ветви потряслись над моею головою… Я взглянул и увидел — молодого человека, худого, бледного, томного, — более привидение, нежели человека. В одной руке держал он гитару, другою срывал листочки с дерева и смотрел на синее море неподвижными черными глазами своими, в которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться с его взором: чувства его были мертвы для внешних предметов; он стоял в двух шагах от меня, но не видал ничего, не слыхал ничего. — «Несчастный молодой человек! — думал я. — Ты убит роком. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты несчастлив!»

Он вздохнул, поднял глаза к небу, опустил их опять на волны морские — отошел от дерева, сел на траву, заиграл на своей гитаре печальную прелюдию, смотря беспрестанно на море, и запел тихим голосом следующую песню (на датском языке, которому учил меня в Женеве приятель мой доктор NN):

Законы осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце! может
Противиться тебе?

Какой закон святее
Твоих врожденных чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Люблю – любить ввек буду.
Кляните страсть мою,
Безжалостные души,
Жестокие сердца!

Священная природа!
Твой нежный друг и сын
Невинен пред тобою.
Ты сердце мне дала;

Твои дары благие
Украсили ее –
Природа! Ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!

Твой гром гремел над нами,

Но нас не поражал,
Когда мы наслаждались
В объятиях любви. –

О Борнгольм, милый Борнгольм!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно;
Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!
Навек я удален
Родительскою клятвой
От берегов твоих!

Еще ли ты, о Лила!
Живешь в тоске своей?
Или в волнах шумящих
Скончала злую жизнь?

Явися мне, явися,
Любезнейшая тень!
Я сам в волнах шумящих
С тобою погребусь.

Тут, по невольному внутреннему движению, хотел я броситься к незнакомцу и прижать его

к сердцу своему, но капитан мой в самую сию минуту взял меня за руку и сказал, что благоприятный ветер развевает наши парусы и что нам не должно терять времени. — Мы поплыли. Молодой человек, бросив гитару и сложив руки, смотрел вслед за нами — смотрел на синее море.

Волны пенились под рулем корабля нашего, берег гревзендский скрылся в отдалении, северные провинции Англии чернелись на другом краю горизонта — наконец все исчезло, и птицы, которые долго вились над нами, полетели назад к берегу, как будто бы устрашенные необозримостию моря. Волнение шумных вод и туманное небо остались единственным предметом глаз наших, предметом величественным и страшным. — Друзья мои! Чтобы живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, надобно быть на открытом море, где *одна тонкая дощечка,* как говорит Виланд, *отделяет нас от влажной смерти,* но где искусный пловец, распуская паруса, летит и в мыслях своих видит уже блеск золота, которым в другой части мира наградится смелая его предприимчивость. «Nil mortalibus arduum est» — «Нет для смертных невозможного», — думал я с Горацием, теряясь взором в бесконечности Нептунова царства.

Но скоро жестокий припадок морской болезни лишил меня чувства. Шесть дней глаза мои не открывались, и томное сердце, орошаемое пеною бурных волн[2], едва билось в груди моей. В седьмой день я ожил и хотя с бледным, но радостным лицом вышел на палубу. Солнце по чистому лазоревому своду катилось уже к западу, море, освещаемое златыми его лучами, шумело, корабль летел на всех парусах по грудам рассекаемых валов, которые тщетно силились опередить его. Вокруг нас, в разном отдалении, развевались белые, голубые и розовые флаги, а на правой стороне чернелось нечто подобное земле.

«Где мы?» — спросил я у капитана. — «Плавание наше благополучно, — сказал он, — мы прошли Зунд; берега Швеции скрылись от глаз наших. На правой стороне видите вы датский остров Борнгольм, место опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском. Когда наступит ночь, мы бросим якорь».

«Остров Борнгольм, остров Борнгольм!» — повторил я в мыслях, и образ молодого гревзендского незнакомца оживился в душе моей. Печальные звуки и слова песни его отозвались в моем слухе.

---

[2] Сноски: 2

В самом деле, пена волн часто орошала меня, лежащего почти без памяти на палубе.

«Они заключают в себе тайну сердца его, — думал я, — но кто он? Какие законы осуждают любовь несчастного? Какая клятва удалила его от берегов Борнгольма, столь ему милого? Узнаю ли когда-нибудь его историю?»

Между тем сильный ветер нес нас прямо к острову. Уже открылись грозные скалы его, откуда с шумом и пеною свергались кипящие ручьи во глубину морскую. Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон огражденным рукою величественной натуры; ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утесах. С ужасом видел я там образ хладной, безмолвной вечности, образ неумолимой смерти и того неописанного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно.

Солнце погрузилось в волны — и мы бросили якорь. Ветер утих, и море едва-едва колебалось. Я смотрел на остров, который неизъяснимою силою влек меня к берегам своим; темное предчувствие говорило мне: «Там можешь удовлетворить своему любопытству, и Борнгольм останется навеки в твоей памяти!» — Наконец, узнав, что недалеко от берега есть рыбачьи хижины, решился я просить у капитана шлюпки и ехать на остров с двумя или тремя матрозами.

Он говорил об опасности, о подводных камнях, но, видя непреклонность своего пассажира, согласился исполнить мое требование с тем условием, чтобы я на другой день рано поутру на корабль возвратился.

Мы поплыли и благополучно пристали к берегу в небольшом тихом заливе. Тут встретили нас рыбаки, люди грубые и дикие, выросшие на хладной стихии, под шум валов морских и незнакомые с улыбкою дружелюбного приветствия; впрочем, не хитрые и не злые люди. Услышав, что мы желаем посмотреть острова и ночевать в их хижинах, они привязали нашу лодку и повели нас, сквозь распавшуюся кремнистую гору, к своим жилищам. Через полчаса вышли мы на пространную зеленую равнину, где, подобно как на долинах альпийских, рассеяны были низенькие деревянные домики, рощицы и громады камней. Тут оставил я своих матрозов, а сам пошел далее, чтобы наслаждаться еще несколько времени приятностями вечера; мальчик лет тринадцати был проводником моим.

Алая заря не угасла еще на светлом небе, розовый свет ее сыпался на белые граниты и вдали, за высоким холмом, освещал острые башни древнего замка. Мальчик не мог сказать

мне, кому принадлежал сей замок. «Мы туда не ходим, — говорил он, — и бог знает, что там делается!» — Я удвоил шаги свои и скоро приближился к большому готическому зданию, окруженному глубоким рвом и высокою стеною. Везде царствовала тишина, вдали шумело море, последний луч вечернего света угасал на медных шпицах башен.

Я обошел вокруг замка — ворота были заперты, мосты подняты. Проводник мой боялся, сам не зная чего, и просил меня идти назад к хижинам, но мог ли любопытный человек уважить такую просьбу?

Наступила ночь, и вдруг раздался голос — эхо повторило его, и опять все умолкло. Мальчик от страха схватил меня обеими руками и дрожал, как преступник в час казни. Через минуту снова раздался голос — спрашивали: «Кто там?» — «Чужеземец, — сказал я, — приведенный любопытством на сей остров, и если гостеприимство почитается добродетелию в стенах вашего замка, то вы укроете странника на темное время ночи». — Ответа не было, но через несколько минут загремел и опустился с верху башни подъемный мост, с шумом отворились ворота — высокий человек, в длинном, черном платье, встретил

меня, взял за руку и повел в замок. Я оборотился назад, но мальчик, провожатый мой, скрылся.

Ворота хлопнули за нами, мост загремел и поднялся. Через обширный двор, заросший кустарником, крапивою и полынью, пришли мы к огромному дому, в котором светился огонь. Высокий перистиль в древнем вкусе вел к железному крыльцу, которого ступени звучали под ногами нашими. Везде было мрачно и пусто. В первой зале, окруженной внутри готическою колоннадою, висела лампада и едва-едва изливала бледный свет на ряды позлащенных столпов, которые от древности начинали разрушаться; в одном месте лежали части карниза, в другом отломки пиластров, в третьем целые упавшие колонны. Путеводитель мой несколько раз взглядывал на меня проницательными глазами, но не говорил ни слова.

Все сие сделало в сердце моем странное впечатление, смешанное отчасти с ужасом, отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием или, лучше сказать, с приятным ожиданием чего-то чрезвычайного.

Мы прошли еще через две или три залы, подобные первой и освещенные такими же лампадами. Потом отворилась дверь направо — в углу

небольшой комнаты сидел почтенный седовласый старец, облокотившись на стол, где горели две белые восковые свечи. Он поднял голову, взглянул на меня с какою-то печальною ласкою, подал мне слабую свою руку и сказал тихим, приятным голосом:

«Хотя вечная горесть обитает в стенах здешнего замка, но странник, требующий гостеприимства, всегда найдет в нем мирное пристанище. Чужеземец! Я не знаю тебя, но ты человек — в умирающем сердце моем жива еще любовь к людям — мой дом, мои объятия тебе отверсты». — Он обнял, посадил меня и, стараясь развеселить мрачный вид свой, уподоблялся хотя ясному, но хладному осеннему дню, который напоминает более горестную зиму, нежели радостное лето. Ему хотелось быть приветливым — хотелось улыбкою вселить в меня доверенность; печали, углубившиеся на лице его, не могли исчезнуть в одну минуту.

«Ты должен, молодой человек, — сказал он, — ты должен известить меня о происшествиях света, мною оставленного, но еще не совсем забытого. Давно живу я в уединении, давно не слышу ничего о судьбе людей. Скажи мне, царствует ли любовь на земном шаре? Курится ли фимиам

на олтарях добродетели? Благоденствуют ли народы в странах, тобою виденных?» — «Свет наук, — отвечал я, — распространяется более и более, но еще струится на земле кровь человеческая — льются слезы несчастных — хвалят имя добродетели и спорят о существе ее». — Старец вздохнул и пожал плечами.

Узнав, что я россиянин, сказал он: «Мы происходим от одного народа с вашим. Древние жители островов Рюгена и Борнгольма были славяне. Но вы прежде нас озарились светом христианства. Уже великолепные храмы, единому богу посвященные, возносились к облакам в странах ваших, но мы, во мраке идолопоклонства, приносили кровавые жертвы бесчувственным истуканам. Уже в торжественных гимнах славили вы великого творца вселенной, но мы, ослепленные заблуждением, хвалили в нестройных песнях идолов баснословия». — Старец говорил со мною об истории северных народов, о происшествиях древности и новых времен, говорил так, что я должен был удивляться уму его, знаниям и даже красноречию.

Через полчаса он встал и пожелал мне доброй ночи. Слуга в черном платье, взяв со стола одну свечу, повел меня через длинные узкие

переходы — и мы вошли в большую комнату, обвешанную древним оружием, мечами, копьями, латами и шишаками. В углу, под золотым балдахином, стояла высокая кровать, украшенная резьбою и древними барельефами.

Мне хотелось предложить множество вопросов сему человеку, но он, не дожидаясь их, поклонился и ушел; железная дверь хлопнула — звук страшно раздался в пустых стенах — и все утихло. Я лег на постелю — смотрел на древнее оружие, освещаемое сквозь маленькое окно слабым лучом месяца, — думал о своем хозяине, о первых словах его: «Здесь обитает вечная горесть», — мечтал о временах прошедших, о тех приключениях, которым сей древний замок бывал свидетелем, — мечтал, подобно такому человеку, который между гробов и могил взирает на прах умерших и оживляет его в своем воображении. — Наконец образ печального гревзендского незнакомца представился душе моей, и я заснул.

Но сон мой не был покоен. Мне казалось, что все латы, висевшие на стене, превратились в рыцарей, что сии рыцари приближались ко мне с обнаженными мечами и с гневным лицом говорили: «Несчастный! Как дерзнул ты пристать

к нашему острову? Разве не бледнеют плаватели при виде гранитных берегов его? Как дерзнул ты войти в страшное святилище замка? Разве ужас его не гремит во всех окрестностях? Разве странник не удаляется от грозных его башен? Дерзкий! Умри за сие пагубное любопытство!» — Мечи застучали надо мною, удары сыпались на грудь мою, — но вдруг все скрылось, — я пробудился и через минуту опять заснул. Тут новая мечта возмутила дух мой. Мне казалось, что страшный гром раздавался в замке, железные двери стучали, окна тряслися, пол колебался, и ужасное крылатое чудовище, которое описать не умею, с ревом и свистом летело к моей постели. Сновидение исчезло, но я не мог уже спать, чувствовал нужду в свежем воздухе, приближился к окну, увидел подле него маленькую дверь, отворил ее и по крутой лестнице сошел в сад.

Ночь была ясная, свет полной луны осребрял темную зелень на древних дубах и вязах, которые составляли густую, длинную аллею. Шум морских волн соединялся с шумом листьев, потрясаемых ветром. Вдали белелись каменные горы, которые, подобно зубчатой стене, окружают остров Борнгольм; между ими и стенами замка виден был с одной стороны большой лес, а с дру-

гой — открытая равнина и маленькие рощицы.

Сердце все еще билось у меня от страшных сновидений, и кровь моя не переставала волноваться. Я вступил в темную аллею, под кров шумящих дубов и с некоторым благоговением углублялся во мрак ее. Мысль о друидах возбудилась в душе моей — и мне казалось, что я приближаюсь к тому святилищу, где хранятся все таинства и все ужасы их богослужения. Наконец сия длинная аллея привела меня к розмаринным кустам, за коими возвышался песчаный холм. Мне хотелось взойти на вершину его, чтобы оттуда при свете ясной луны взглянуть на картину моря и острова, но тут представилось глазам моим отверстие во внутренность холма; человек с трудом мог войти в него. Непреодолимое любопытство влекло меня в сию пещеру, которая походила более на дело рук человеческих, нежели на произведение дикой натуры. Я вошел — почувствовал сырость и холод, но решился идти далее и, сделав шагов десять вперед, рассмотрел несколько ступеней вниз и широкую железную дверь; она, к моему удивлению, была не заперта. Как будто бы невольным образом рука моя отворила ее — тут, за железною решеткою, на которой висел большой замок, горела лампа-

да, привязанная ко своду, а в углу, на соломенной постеле, лежала молодая бледная женщина в черном платье. Она спала; русые волосы, с которыми переплелись желтые соломинки, закрывали высокую грудь ее, едва-едва дышащую; одна рука, белая, но иссохшая, лежала на земле, а на другой покоилась голова спящей. Если бы живописец хотел изобразить томную, бесконечную, всегдашнюю скорбь, осыпанную маковыми цветами Морфея, то сия женщина могла бы служить прекрасным образцом для кисти его.

Друзья мои! Кого не трогает вид несчастного! Но вид молодой женщины, страдающей в подземной темнице, — вид слабейшего и любезнейшего из всех существ, угнетенного судьбою, — мог бы влить чувство в самый камень. Я смотрел на нее с горестию и думал сам в себе: «Какая варварская рука лишила тебя дневного света? Неужели за какое-нибудь тяжкое преступление? Но миловидное лицо твое, но тихое движение груди твоей, но собственное сердце мое уверяют меня в твоей невинности!»

В самую сию минуту она проснулась — взглянула на решетку — увидела меня — изумилась — подняла голову — встала — приближилась, — потупила глаза в землю, как будто бы собираясь

с мыслями, — снова устремила их на меня, хотела говорить и — не начинала.

«Если чувствительность странника, — сказал я через несколько минут молчания, — рукою судьбы приведенного в здешний замок и в эту пещеру, может облегчить твою участь, если искреннее его сострадание заслуживает твою доверенность, требуй его помощи!» — Она смотрела на меня неподвижными глазами, в которых видно было удивление, некоторое любопытство, нерешимость и сомнение. Наконец, после сильного внутреннего движения, которое как будто бы электрическим ударом потрясло грудь ее, отвечала твердым голосом: «Кто бы ты ни был, каким бы случаем ни зашел сюда, — чужеземец, я не могу требовать от тебя ничего, кроме сожаления. Не в твоих силах переменить долю мою. Я лобызаю руку, которая меня наказывает». — «Но сердце твое невинно? — сказал я, — оно, конечно, не заслуживает такого жестокого наказания?» — «Сердце мое, — отвечала она, — могло быть в заблуждении. Бог простит слабую. Надеюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомец!» — Тут приближилась она к решетке, взглянула на меня с ласкою и тихим голосом повторила: «Ради бога, оставь меня!.. Если он сам

послал тебя — тот, которого страшное проклятие гремит всегда в моем слухе, — скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь, что сердце мое высохло от горести, что слезы не облегчают уже тоски моей. Скажи, что я без ропота, без жалоб сношу заключение, что я умру его нежною, несчастною…» — Она вдруг замолчала, задумалась, удалилась от решетки, стала на колени и закрыла руками лицо свое, через минуту посмотрела на меня, снова потупила глаза в землю и сказала с нежною робостию: «Ты, может быть, знаешь мою историю, но если не знаешь, то не спрашивай меня — ради бога, не спрашивай!.. Чужеземец, прости!» — Я хотел идти, сказав ей несколько слов, излившихся прямо из души моей, но взор мой еще встретился с ее взором — и мне показалось, что она хочет узнать от меня нечто важное для своего сердца. Я остановился — ждал вопроса, но он, после глубокого вздоха, умер на бледных устах ее. Мы расстались.

Вышедши из пещеры, не хотел я затворить железной двери, чтобы свежий, чистый воздух сквозь решетку проник в темницу и облегчил дыхание несчастной. Заря алела на небе, птички пробудились, ветерок свевал росу с кустов и цветочков, которые росли вокруг песчаного

холма. — «Боже мой! — думал я. — Боже мой! Как горестно быть исключенным из общества живых, вольных, радостных тварей, которыми везде населены необозримые пространства натуры! В самом севере, среди высоких мшистых скал, ужасных для взора, творение руки твоей прекрасно — творение руки твоей восхищает дух и сердце. И здесь, где пенистые волны от начала мира сражаются с гранитными утесами, — и здесь десница твоя напечатлела живые знаки творческой любви и благости, и здесь в час утра розы цветут на лазоревом небе, и здесь нежные зефиры дышат ароматами, и здесь зеленые ковры расстилаются, как мягкий бархат, под ногами человека, и здесь поют птички — поют весело для веселого, печально для печального, приятно для всякого, и здесь скорбящее сердце в объятиях чувствительной природы может облегчиться от бремени своих горестей! Но — бедная, заключенная в темнице, не имеет сего утешения: роса утренняя не окропляет ее томного сердца, ветерок не освежает истлевшей груди, лучи солнечные не озаряют помраченных глаз ее, тихие бальзамические излияния луны не питают души ее кроткими сновидениями и приятными мечтами. Творец! Почто даровал ты людям гибельную

власть делать несчастными друг друга и самих себя?» — Силы мои ослабели, и глаза закрылись, под ветвями высокого дуба, на мягкой зелени.

Сон мой продолжался около двух часов.

«Дверь была отворена; чужестранец входил в пещеру» — вот что услышал я, проснувшись, — открыл глаза и увидел старца, хозяина своего; он сидел в задумчивости на дерновой лавке, шагах в пяти от меня; подле него стоял тот человек, который ввел меня в замок. Я подошел к ним. Старец взглянул на меня с некоторою суровостию, встал, пожал мою руку — и вид его сделался ласковее. Мы вошли вместе в густую аллею, не говоря ни слова. Казалось, что он в душе своей колебался и был в нерешимости, но вдруг остановился и, устремив на меня проницательный, огненный взор, спросил твердым голосом: «Ты видел ее?» — «Видел, — отвечал я, — видел, не узнав, кто она и за что она страдает в темнице». — «Узнаешь, — сказал он, — узнаешь, молодой человек, и сердце твое обольется кровию. Тогда спросишь у самого себя: за что небо излияло всю чашу гнева своего на сего слабого, седого старца, старца, который любил добродетель, который чтил святые законы его?» — Мы сели под деревом, и старец рассказал мне ужаснейшую историю — историю, которой

вы теперь не услышите, друзья мои; она остается до другого времени. На сей раз скажу вам одно то, что я узнал тайну гревзендского незнакомца — тайну страшную!

Матрозы дожидались меня у ворот замка. Мы возвратились на корабль, подняли парусы, и Борнгольм скрылся от глаз наших.

Море шумело. В горестной задумчивости стоял я на палубе, взявшись рукою за мачту. Вздохи теснили грудь мою — наконец я взглянул на небо — и ветер свеял в море слезу мою.

Сиерра-Морена

В цветущей Андалузии — там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный Гвадальквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сиерра-Морена[3], — там увидел я прекрасную, когда она в унынии, в горести стояла подле Алонзова памятника, опершись на него лилейною рукою своею; луч утреннего солнца позлащал белую урну и возвышал трогательные прелести нежной Эльвиры; ее русые волосы, рассыпаясь по плечам, падали на черный мрамор.

Эльвира любила юного Алонза, Алонзо любил Эльвиру и скоро надеялся быть супругом ее, но корабль, на котором плыл он из Майорки (где жил отец его), погиб в волнах моря. Сия ужасная весть сразила Эльвиру. Жизнь ее была в опасности… Наконец отчаяние превратилось в тихую скорбь и томность. Она соорудила мраморный памятник любимцу души своей и каждый день орошала его жаркими слезами.

Я смешал слезы мои с ее слезами. Она увиде-

---

[3] Сноски: 3
То есть Черная гора.

ла в глазах моих изображение своей горести, в чувствах сердца моего узнала собственные свои чувства и назвала меня другом. Другом!.. Как сладостно было имя сие в устах любезной! — Я в первый раз поцеловал тогда руку ее.

Эльвира говорила мне о своем незабвенном Алонзе, описывала красоту души его, свою любовь, свои восторги, свое блаженство, потом отчаяние, тоску, горесть и, наконец, — утешение, отраду, находимую сердцем ее в милом дружестве. Тут взор Эльвирин блистал светлее, розы на лице ее оживлялись и пылали, рука ее с горячностию пожимала мою руку.

Увы! В груди моей свирепствовало пламя любви: сердце мое сгорало от чувств своих, кровь кипела — и мне надлежало таить страсть свою!

Я таил оную, таил долго. Язык мой не дерзал именовать того, что питала в себе душа моя: ибо Эльвира клялась не любить никого, кроме своего Алонза, клялась не любить в другой раз. Ужасная клятва! Она заграждала уста мои.

Мы были неразлучны, гуляли вместе на злачных берегах величественного Гвадальквивира, сидели над журчащими его водами, подле горестного Алонзова памятника, в тишине и безмолвии; одни сердца наши говорили. Взор

Эльвирин, встречаясь с моим, опускался к земле или обращался на небо. Два вздоха вылетали, соединялись и, мешаясь с зефиром, исчезали в пространствах воздуха. Жар дружеских моих объятий возбуждал иногда трепет в нежной Эльвириной груди — быстрый огнь разливался по лицу прекрасной — я чувствовал скорое биение пульса ее — чувствовал, как она хотела успокоиться, хотела удержать стремление крови своей, хотела говорить… Но слова на устах замирали. — Я мучился и наслаждался.

Часто темная ночь застигала нас в отдаленном уединении. Звучное эхо повторяло шум водопадов, который раздавался между высоких утесов Сиерры-Морены, в ее глубоких расселинах и долинах. Сильные ветры волновали и крутили воздух, багряные молнии вились на черном небе или бледная луна над седыми облаками восходила. — Эльвира любила ужасы натуры: они возвеличивали, восхищали, питали ее душу.

Я был с нею!.. И радовался сгущению ночных мраков. Они сближали сердца наши, они скрывали Эльвиру от всей природы — и я тем живее, тем нераздельнее наслаждался ее присутствием.

Ах! Можно сражаться с сердцем долго и упорно, но кто победит его? — Бурное стремление ярост-

ных вод разрывает все оплоты, и каменные горы распадаются от силы огненного вещества, в их недрах заключенного.

Сила чувств моих все преодолела, и долго таимая страсть излилась в нежном признании!

Я стоял на коленях, и слезы мои текли рекою. Эльвира бледнела — и снова уподоблялась розе. Знаки страха, сомнения, скорби, нежной томности менялись на лице ее!..

Она подала мне руку с умильным взором. «Жестокий! — сказала Эльвира — но сладкий голос ее смягчил всю жестокость сего упрека. — Жестокий! Ты недоволен кроткими чувствами дружбы, ты принуждаешь меня нарушить обет священный и торжественный!.. Пусть же громы небесные поразят клятвопреступницу!.. Я люблю тебя!..» — Огненные поцелуи мои запечатлели уста ее.

Боже мой!.. Сия минута была счастливейшею в моей жизни!

Эльвира пошла к Алонзову памятнику, стала перед ним на колени и, обнимая белую урну, сказала трогательным голосом: «Тень любезного Алонза! Простишь ли свою Эльвиру?.. Я клялась вечно любить тебя и вечно любить не перестану, образ твой сохранится в моем сердце, всякий

день буду украшать цветами твой памятник, слезы мои будут всегда мешаться с утреннею и вечернею росою на сем хладном мраморе! — Но я клялась еще не любить никого, кроме тебя… и люблю!.. Увы! Я надеялась на сердце свое и поздно увидела опасность. Оно тосковало — было одно в пространном мире — искало утешения, — дружба явилась ему в венце невинности и добродетели… Ах!.. Любезная тень! простишь ли свою Эльвиру?»

Любовь моя была красноречива: я успокоил милую, и все облака исчезли в ангельских очах ее.

Эльвира назначила день для нашего вечного соединения, предалась нежным чувствам своим, и я наслаждался небом! — Но гром собирался над нами… Рука моя трепещет!

Все радовалось в Эльвирином замке, все готовилось к брачному торжеству. Ее родственники любили меня — Андалузия долженствовала быть вторым моим отечеством!

Уже розы и лилии на олтаре благоухали, и я приближился к оному с прелестною Эльвирою, с восторгом в душе, с сладким трепетом в сердце, уже священник готовился утвердить союз наш своим благословением — как вдруг явился незнакомец, в черной одежде, с бледным лицом,

с мрачным видом: кинжал блистал в руке его. «Вероломная! — сказал он Эльвире. — Ты клялась быть вечно моею и забыла свою клятву! Я клялся любить тебя до гроба: умираю… и люблю!..» Уже кровь лилась из его сердца, он вонзил кинжал в грудь свою и пал мертвый на помост храма.

Эльвира, как громом пораженная, в исступлении, в ужасе воскликнула: «Алонзо! Алонзо!..» — и лишилась памяти. — Все стояли неподвижно. Внезапность страшного явления изумила присутствующих.

Сей бледный незнакомец, сей грозный самоубийца был Алонзо. Корабль, на котором он плыл из Майорки, погиб, но алжирцы извлекли юношу из волн, чтобы оковать его цепями тяжкой неволи. Через год он получил свободу — летел к предмету любви своей, — услышал о замужестве Эльвирином и решился наказать ее… своею смертию.

Я вынес Эльвиру из храма. Она пришла в себя, — но пламя любви навек угасло в очах и сердце ее. «Небо страшно наказало клятвопреступницу, — сказала мне Эльвира, — я убийца Алонзова! Кровь его палит меня. Удались от несчастной! Земля расступилась между нами, и тщетно будешь простирать ко мне руки свои! Бездна

разделила нас навеки. Можешь только взорами своими растравлять неизлечимую рану моего сердца. Удались от несчастной!»

Моя горесть, мое отчаяние не могли тронуть ее — Эльвира погребла несчастного Алонза на том месте, где оплакивала некогда мнимую смерть его, и заключилась в строжайшем из женских монастырей. Увы! Она не хотела проститься со мною!.. Не хотела, чтобы я в последний раз обнял ее со всею горячностию любви и видел в глазах ее хотя одно сожаление о моей участи!

Я был в исступлении — искал в себе чувствительного сердца, но сердце, подобно камню, лежало в груди моей — искал слез и не находил их — мертвое, страшное уединение окружало меня.

День и ночь слились для глаз моих в вечный сумрак. Долго не знал я ни сна, ни отдохновения, скитался по тем местам, где бывал вместе — с жестокою и несчастною; хотел найти следы, остатки, части *моей* Эльвиры, напечатления души ее… Но хлад и тьма везде меня встречали!

Иногда приближался я к уединенным стенам того монастыря, где заключилась неумолимая Эльвира: там грозные башни возвышались, железные запоры на вратах чернелись, вечное

безмолвие обитало, и какой-то унылый голос вещал мне: «Для тебя уже нет Эльвиры!»

Наконец я удалился от Сиерры-Морены — оставил Андалузию, Гишпанию, Европу — видел печальные остатки древней Пальмиры, некогда славной и великолепной, — и там, опершись на развалины, внимал глубокой, красноречивой тишине, царствующей в сем запустении и одними громами прерываемой. Там, в объятиях меланхолии, сердце мое размягчилось — там слеза моя оросила сухое тление — там, помышляя о жизни и смерти народов, живо восчувствовал я суету всего подлунного и сказал самому себе: «Что есть жизнь человеческая? Что бытие наше? Один миг, и все исчезнет! Улыбка счастия и слезы бедствия покроются единою горстию черной земли!» — Сии мысли чудесным образом успокоили мою душу.

Я возвратился в Европу и был некоторое время игралищем злобы людей, некогда мною любимых; хотел еще видеть Андалузию, Сиерру-Морену и узнал, что Эльвира переселилась уже в обители небесные; пролил слезы на ее могиле и обтер их навеки.

Хладный мир! Я тебя оставил! — Безумные существа, человеками именуемые! Я вас оставил!

Свирепствуйте в лютых своих исступлениях, терзайте, умерщвляйте друг друга! Сердце мое для вас мертво, и судьба ваша его не трогает.

Живу теперь в стране печального севера, где глаза мои в первый раз озарились лучом солнечным, где величественная натура из недр бесчувствия приняла меня в свои объятия и включила в систему *эфемерного бытия,* — живу в уединении и внимаю бурям.

Тихая ночь — вечный покой — святое безмолвие! К вам, к вам простираю мои объятия!

Наталья, боярская дочь

Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали? По крайней мере, я люблю сии времена; люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сению давно истлевших вязов искать брадатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славного народа русского и с нежностью целовать ручки у моих прабабушек, которые не могут насмотреться на своего почтительного правнука, не могут наговориться со мною, надивиться моему разуму, потому что я, рассуждая с ними о старых и новых модах, всегда отдаю преимущество их подкапкам и шубейкам перед нынешними bonnets a la…[4] и всеми галло-албионскими нарядами, блистающими на московских красавицах в конце осьмого-надесять века. Таким образом (конечно, понятным

---

[4] Сноски: 4
Bonnets a la *(фр.)* — чепчиками в виде…

для всех читателей), старая Русь известна мне более, нежели многим из моих сограждан, и если угрюмая Парка еще несколько лет не перережет жизненной моей нити, то наконец не найду я и места в голове своей для всех анекдотов и повестей, рассказываемых мне жителями прошедших столетий. Чтобы облегчить немного груз моей памяти, намерен я сообщить любезным читателям одну быль или историю, слышанную мною в области теней, в царстве воображения, от бабушки моего дедушки, которая в свое время почиталась весьма красноречивою и почти всякий вечер сказывала сказки царице NN. Только страшусь обезобразить повесть ее; боюсь, чтобы старушка не примчалась на облаке с того света и не наказала меня клюкою своею за худое риторство… Ах нет! Прости безрассудность мою, великодушная тень, — ты неудобна, к такому делу! В самой земной жизни своей была ты смирна и незлобна, как юная овечка; рука твоя не умертвила здесь ни комара, ни мушки, и бабочка всегда покойно отдыхала на носу твоем: итак, возможно ли, чтобы теперь, когда ты плаваешь в море неописанного блаженства и дышишь чистейшим эфиром неба, — возможно ли, чтобы рука твоя поднялась на твоего покорного праправнука? Нет! Ты доз-

волишь ему беспрепятственно упражняться в похвальном ремесле марать бумагу, взводить небылицы на живых и мертвых, испытывать терпение своих читателей и, наконец, подобно вечно зевающему богу Морфею, низвергать их на мягкие диваны и погружать в глубокий сон… Ах! В самую сию минуту вижу необыкновенный свет в темном моем коридоре, вижу огненные круги, которые вертятся с блеском и с треском и, наконец, — о чудо! — являют мне твой образ, образ неописанной красоты, неописанного величества! Очи твои сияют, как солнцы; уста твои алеют, как заря утренняя, как вершины снежных гор при восходе дневного светила, — ты улыбаешься, как юное творение в первый день бытия своего улыбалось, и в восторге слышу я *сладкогремящие слова* твои: «Продолжай, любезный мой праправнук!» Так, я буду продолжать, буду; и, вооружась пером, мужественно начертаю историю *Натальи, боярской дочери*. Но прежде должно мне отдохнуть; восторг, в который привело меня явление прапрабабушки, утомил душевные мои силы. На несколько минут кладу перо — и сии написанные строки да будут вступлением, или предисловием.

В престольном граде славного Русского царства,

в Москве белокаменной, жил боярин Матвей Андреев, человек богатый, умный, верный слуга царский и, по обычаю русских, великий хлебосол. Он владел многими поместьями и был не обидчиком, а покровителем и заступником своих бедных соседей, чему в наши просвещенные времена, может быть, не всякий поверит, но что в старину совсем не почиталось редкостию. Царь называл его правым глазом своим, и правый глаз никогда царя не обманывал. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, он призывал к себе в помощь боярина Матвея, и боярин Матвей, кладя чистую руку на чистое сердце, говорил: «Сей прав (не по такому-то указу, состоявшемуся в таком-то году, но) по моей совести; сей виноват по моей совести» — и совесть его была всегда согласна с правдою и с совестью царскою. Дело решалось без замедления: правый подымал на небо слезящее око благодарности, указывая рукою на доброго государя и доброго боярина, а виноватый бежал в густые леса сокрыть стыд свой от человеков.

Еще не можем мы умолчать об одном похвальном обыкновении боярина Матвея, обыкновении, которое достойно подражания во всяком веке и во всяком царстве, а именно, в каждый двана-

десятый праздник поставлялись длинные столы в его горницах, чистыми скатертьми накрытые, и боярин, сидя на лавке подле высоких ворот своих, звал к себе обедать всех мимоходящих бедных[5] людей, сколько их могло поместиться в жилище боярском; потом, собрав полное число, возвращался в дом и, указав место каждому гостю, садился сам между ними. Тут в одну минуту являлись на столах чаши и блюда, и ароматический пар горячего кушанья, как белое тонкое облако, вился над головами обедающих. Между тем хозяин ласково беседовал с гостями, узнавал их нужды, подавал им хорошие советы, предлагал свои услуги и наконец веселился с ними, как с друзьями. Так в древние патриархальные времена, когда век человеческий был не столь краток, почтенными сединами украшенный старец насыщался земными благами со многочисленным своим семейством — смотрел вокруг себя и, видя на всяком лице, во всяком взоре живое изображение любви и радости, восхищался в душе своей. После обеда все неимущие братья, наполнив вином свои чарки, восклицали в один голос: «Добрый, добрый боярин и отец

---

[5] Сноски: 5

В истине сего уверял меня не один старый человек. (*Примеч. автора.*)

наш! Мы пьем за твое здоровье! Сколько капель в наших чарках, столько лет живи благополучно!» Они пили, и благодарные слезы их капали на белую скатерть.

Таков был боярин Матвей, верный слуга царский, верный друг человечества. Уже минуло ему шестьдесят лет, уже кровь медленнее обращалась в жилах его, уже тихое трепетание сердца возвещало наступление жизненного вечера и приближение ночи — но доброму ли бояться сего густого непроницаемого мрака, в котором теряются дни человеческие? Ему ли страшиться его тенистого пути, когда с ним доброе сердце его, когда с ним добрые дела его? Он идет вперед бестрепетно, наслаждается последними лучами заходящего светила, обращает покойный взор на прошедшее и с радостным — хотя темным, но не менее того радостным предчувствием заносит ногу в оную неизвестность. Любовь народная, милость царская были наградою добродетелей старого боярина; но венцом его счастия и радостей была любезная Наталья, единственная дочь его. Уже давно оплакал он мать ее, которая заснула вечным сном в его объятиях, но кипарисы супружеской любви покрылись цветами любви родительской — в юной Наталье

увидел он новый образ умершей, и вместо горьких слез печали воссияли в глазах его сладкие слезы нежности. Много цветов в поле, в рощах и на лугах зеленых, но нет подобного розе; роза всех прекраснее; много было красавиц в Москве белокаменной, ибо царство Русское искони почиталось жилищем красоты и приятностей, но никакая красавица не могла сравняться с Натальею — Наталья была всех прелестнее. Пусть читатель вообразит себе белизну итальянского мрамора и кавказского снега: он все еще не вообразит белизны лица ее — и, представя себе цвет зефировой любовницы, все еще не будет иметь совершенного понятия об алости щек Натальиных. Я боюсь продолжать сравнение, чтобы не наскучить читателю повторением известного, ибо в наше роскошное время весьма истощился магазин пиитических уподоблений красоты и не один писатель с досады кусает перо свое, ища и не находя новых. Довольно знать и того, что самые богомольные старики, видя боярскую дочь у обедни, забывали класть земные поклоны, и самые пристрастные матери отдавали ей преимущество перед своими дочерями. Сократ говорил, что красота телесная бывает всегда изображением душевной. Нам должно поверить

Сократу, ибо он был, во-первых, искусным ваятелем (следственно, знал принадлежности красоты телесной), а во-вторых, мудрецом или любителем мудрости (следственно, знал хорошо красоту душевную). По крайней мере наша прелестная Наталья имела прелестную душу, была нежна, как горлица, невинна, как агнец, мила, как май месяц: одним словом, имела все свойства благовоспитанной девушки, хотя русские не читали тогда ни Локка «О воспитании», ни Руссова «Эмиля» — во-первых, для того, что сих авторов еще и на свете не было, а во-вторых, и потому, что худо знали грамоте, — не читали и воспитывали детей своих, как натура воспитывает травки и цветочки, то есть поили и кормили их, оставляя все прочее на произвол судьбы, но сия судьба была к ним милостива и за доверенность, которую имели они к ее всемогуществу, награждала их почти всегда добрыми детьми, утешением и подпорою их старых дней.

Один великий психолог, которого имени я, право, не упомню, сказал, что описание дневных упражнений человека есть вернейшее изображение его сердца. По крайней мере я так думаю и с дозволения моих любезных читателей опишу, как Наталья, боярская дочь, проводила

время свое от восхода до заката красного солнца. Лишь только первые лучи сего великолепного светила показывались из-за утреннего облака, изливая на тихую землю жидкое, неосязаемое золото, красавица наша пробуждалась, открывала черные глаза свои и, перекрестившись белою атласною, до нежного локтя обнаженною рукою, вставала, надевала на себя тонкое шелковое платье, камчатную телогрею и с распущенными темно-русыми волосами подходила к круглому окну высокого своего терема, чтобы взглянуть на прекрасную картину оживляемой натуры, — взглянуть на златоглавую Москву, с которой лучезарный день снимал туманный покров ночи и которая, подобно какой-нибудь огромной птице, пробужденной гласом утра, в веянии ветерка стряхивала с себя блестящую росу, — взглянуть на московские окрестности, на мрачную, густую, необозримую Марьину рощу, которая, как сизый, кудрявый дым, терялась от глаз в неизмеримом отдалении и где жили тогда все дикие звери севера, где страшный рев их заглушал мелодии птиц поющих. С другой стороны являлись Натальину взору сверкающие изгибы Москвы-реки, цветущие поля и дымящиеся деревни, откуда с веселыми песнями выезжали трудолюбивые

поселяне на работы свои, — поселяне, которые и по сие время ни в чем не переменились, так же одеваются, так живут и работают, как прежде жили и работали, и среди всех изменений и личин представляют нам еще истинную русскую физиогномию. Наталья смотрела, опершись на окно, и чувствовала в сердце своем тихую радость; не умела красноречиво хвалить натуры, но умела ею наслаждаться; молчала и думала: «Как хороша Москва белокаменная! Как хороши ее окружности!» Но того не думала Наталья, что сама она в утреннем своем наряде была всего прекраснее. Юная кровь, разгоряченная ночными сновидениями, красила нежные щеки ее алейшим румянцем, солнечные лучи играли на белом ее лице и, проницая сквозь черные, пушистые ресницы, сияли в глазах ее светлее, нежели на золоте. Волосы, как темно-кофейный бархат, лежали на плечах и на белой полуоткрытой груди, но скоро прелестная скромность, стыдясь самого солнца, самого ветерка, самых немых стен, закрывала ее полотном тонким. Потом будила она свою няню, верную служанку ее покойной матери. «Вставай, мама! — говорила Наталья. — Скоро заблаговестят к обедне». Мама вставала, одевалась, называла свою барышню

раннею птичкою, умывала ее ключевою водой, чесала ее длинные волосы белым костяным гребнем, заплетала их в косу и украшала голову нашей прелестницы жемчужною повязкою. Таким образом снарядившись, дожидались они благовеста и, заперев замком светлицу (чтобы в отсутствие их не закрался в нее какой-нибудь недобрый человек), отправлялись к обедне. «Всякий день?» — спросит читатель. Конечно, — таков был в старину обычай — и разве зимою одна жестокая вьюга, а летом проливной дождь с грозою могли тогда удержать красную девицу от исполнения сей набожной должности. Становясь всегда в уголке трапезы, Наталья молилась Богу с усердием и между тем исподлобья посматривала направо и налево. В старину не было ни клобов, ни маскарадов, куда ныне ездят себя казать и других смотреть; итак, где же, как не в церкви, могла тогда любопытная девушка поглядеть на людей? После обедни Наталья раздавала всегда несколько копеек бедным людям и приходила к своему родителю, с нежною любовию поцеловать его руку. Старец плакал от радости, видя, что дочь его день ото дня становилась лучше и милее, и не знал, как благодарить Бога за такой неоцененный дар, за такое сокро-

вище. Наталья садилась подле него или шить в пяльцах, или плести кружево, или сучить шелк, или низать ожерелье. Нежный родитель хотел смотреть на работу ее, но вместо того смотрел на нее самое и наслаждался безмолвным умилением. Читатель! Знаешь ли ты по собственному опыту родительские чувства? Если нет, то вспомни по крайней мере, как любовались глаза твои пестрою гвоздичкою или беленьким ясмином, тобою посаженным, с каким удовольствием рассматривал ты их краски и тени и сколь радовался мыслию: «Это — мой цветок; я посадил его и вырастил!», вспомни и знай, что отцу еще веселее смотреть на милую дочь и веселее думать: «Она — моя!» После русского сытного обеда боярин Матвей ложился отдыхать, а дочь свою с ее мамою отпускал гулять или в сад, или на большой зеленый луг, где ныне возвышаются *Красные ворота* с трубящею Славою. Наталья рвала цветы, любовалась летающими бабочками, питалась благоуханием трав, возвращалась домой весела и покойна и принималась снова за рукоделье. Наступал вечер — новое гулянье, новое удовольствие; иногда же юные подруги приходили делить с нею часы прохлады и разговаривать о всякой всячине. Сам добрый боярин Матвей

бывал их собеседником, если государственные или нужные домашние дела не занимали его времени. Седая борода его не пугала молодых красавиц; он умел забавлять их приятным образом и рассказывал им приключения благочестивого князя Владимира и могучих богатырей российских. Зимою, когда нельзя было гулять ни в саду, ни в поле, Наталья каталась в санях по городу и ездила по вечеринкам, на которые собирались одни девушки, тешиться и веселиться и невинным образом сокращать время. Там мамы и няни выдумывали для своих барышень разные забавы, играли в жмурки, прятались, хоронили золото, пели песни, резвились, не нарушая благопристойности, и смеялись без насмешек, так что скромная и целомудренная дриада могла бы всегда присутствовать на сих вечеринках. Глубокая полночь разлучала девушек, и прелестная Наталья в объятиях мрака наслаждалась покойным сном, которым всегда юная невинность наслаждается.

Так жила боярская дочь, и семнадцатая весна жизни ее наступила; травка зазеленелась, цветы расцвели в поле, жаворонки запели — и Наталья, сидя поутру в светлице своей под окном, смотрела в сад, где с кусточка на кусточек порхали

птички и, нежно лобызаясь своими маленькими носиками, прятались в густоту листьев. Красавица в первый раз заметила, что они летали парами — сидели парами и скрывались парами. Сердце ее как будто бы вздрогнуло — как будто бы какой-нибудь чародей дотронулся до него волшебным жезлом своим! Она вздохнула — вздохнула в другой и в третий раз — посмотрела вокруг себя — увидела, что с нею никого не было, никого, кроме старой няни (которая дремала в углу горницы на красном весеннем солнышке), — опять вздохнула, и вдруг бриллиантовая слеза сверкнула в правом глазе ее, — потом и в левом — и обе выкатились — одна капнула на грудь, а другая остановилась на румяной щеке, в маленькой нежной ямке, которая у милых девушек бывает знаком того, что Купидон целовал их при рождении. Наталья подгорюнилась — чувствовала некоторую грусть, некоторую томность в душе своей; все казалось ей не так, все неловко; она встала и опять села; наконец, разбудив свою маму, сказала ей, что сердце у нее тоскует. Старушка начала крестить милую свою барышню и с некоторыми *набожными*

оговорками[6] бранить того человека, который взглянул на прекрасную Наталью нечистым глазом или похвалил ее прелести нечистым языком, не от чистого сердца, не в добрый час, ибо старушка была уверена, что ее сглазили и что внутренняя тоска ее происходит ни от чего другого. Ах, добрая старушка! Хотя ты и долго жила на свете, однако ж многого не знала; не знала, что и как в некоторые лета начинается у нежных дочерей боярских; не знала… Но, может быть, и читатели (если до сей минуты они все еще держат в руках книгу и не засыпают), — может быть, и читатели не знают, что за беда случилась вдруг с нашею героинею, чего она искала глазами в горнице, отчего вздыхала, плакала, грустила. Известно, что до сего времени веселилась она, как вольная пташка, что жизнь ее текла, как прозрачный ручеек стремится по беленьким камешкам между злачных цветущих бережков; что ж сделалось с нею? Скромная Муза, поведай!.. — С небесного лазоревого свода, а может быть, откуда-нибудь и повыше, слетела, как маленькая птичка колибри, порхала, порхала по чистому весеннему воздуху и влетела в Ната-

[6] Сноски: 6

Например, «Прости господи» и прочее тому подобное, что можно еще слышать и от нынешних нянюшек. (*Примеч. автора.*)

льино нежное сердце — *потребность любить, любить, любить!!!* Вот вся загадка; вот причина красавицыной грусти — и если она покажется кому-нибудь из читателей не совсем понятною, то пусть требует он подробнейшего изъяснения от любезнейшей ему осьминадцатилетней девушки.

С сего времени Наталья во многом переменилась — стала не так жива, не так резва — иногда задумывалась, — и хотя по-прежнему гуляла в саду и в поле, хотя по-прежнему проводила вечера с подругами, но не находила ни в чем прежнего удовольствия. Так человек, вышедший из лет детства, видит игрушки, которые составляли забаву его младенчества, — берется за них, хочет играть, но, чувствуя, что они уже не веселят его, оставляет их со вздохом. Красавица наша не умела самой себе дать отчета в своих новых, смешанных, темных чувствах. Воображение представляло ей чудеса. Например, часто казалось ей (не только во сне, но даже и наяву), что перед нею, в мерцании отдаленной зари, носится какой-то образ, прелестный, милый призрак, который манит ее к себе ангельскою улыбкою и потом исчезает в воздухе. «Ах!» — восклицала Наталья, и простертые руки ее медленно опускались к земле.

Иногда же воспаленным мыслям ее представлялся огромный храм, в который тысячи людей, мужчин и женщин, спешили с радостными лицами, держа друг друга за руку. Наталья хотела также войти в него, но невидимая рука удерживала ее за одежду, и неизвестный голос говорил ей: «Стой в притворе храма; никто без милого друга не входит в его внутренность». Она не понимала сердечных своих движений, не знала, как толковать сны свои, не разумела, чего желала, но живо чувствовала какой-то недостаток в душе своей и томилась. Так, красавицы! ваша жизнь с некоторых лет не может быть счастлива, если течет она, как уединенная река в пустыне, а без милого пастушка целый свет для вас пустыня, и веселые голоса подруг, веселые голоса птичек кажутся вам печальными отзывами уединенной скуки. Напрасно, обманывая самих себя, хотите вы пустоту души своей наполнить чувствами девической дружбы, напрасно избираете лучшую из подруг своих в предмет нежных побуждений вашего сердца! Нет, красавицы, нет! Сердце ваше желает чего-то другого: оно хочет такого сердца, которое не приближалось бы к нему без сильного трепета, которое вместе с ним составляло бы одно чувство, нежное, страстное, пламенное, — а где

найти его, где? Конечно, не в Дафне, конечно, не в Хлое, которые вместе с вами могут только горевать, тайно или явно, — горевать и крушиться, желая и не находя того, чего вы сами ищете и не находите в хладной дружбе, но что найдете — или в противном случае вся жизнь ваша будет беспокойным, тяжелым сном, — найдете в тени миртовой беседки, где сидит теперь в унынии, в тоске милый юноша с светло-голубыми или черными глазами и в печальных песнях жалуется на вашу наружную жестокость. Любезный читатель! Прости мне сие отступление! Не один Стерн был рабом пера своего. Обратимся снова к нашей повести.

Боярин Матвей скоро приметил, что Наталья стала пасмурнее: родительское сердце его потревожилось. Он расспрашивал ее с нежною заботливостью о причине такой перемены и, наконец, заключив, что дочь его неможет, отправил нарочного гонца к столетней тетке своей, которая жила в темноте Муромских лесов, собирала травы и коренья, обходилась более с волками и медведями, нежели с людьми русскими, и прослыла если не чародейкою, то по крайней мере велемудрою старушкою, искусною в лечении всех недугов человеческих. Боярин Матвей описал ей все при-

знаки Натальиной болезни и просил, чтобы она посредством своего искусства возвратила внучке здравие, а ему, старику, радость и спокойствие. Успех сего посольства остается в неизвестности; впрочем, нет большой нужды и знать его. Теперь должны мы приступить к описанию важнейших приключений.

Время и в старину так же скоро летело, как ныне, и, между тем как наша красавица вздыхала и томилась, год перевернулся на оси своей: зеленые ковры весны и лета покрылись пушистым снегом, грозная царица хлада воссела на ледяной престол свой и дохнула вьюгами на русское царство, то есть зима наступила, и Наталья, по своему обыкновению, пошла однажды к обедне. Помолившись с усердием, она не нарочно обратила глаза свои к левому крылосу — и что же увидела? Прекрасный молодой человек, в голубом кафтане с золотыми пуговицами, стоял там, как царь среди всех прочих людей, и блестящий проницательный взор его встретился с ее взором. Наталья в одну секунду вся закраснелась, и сердце ее, затрепетав сильно, сказало ей: «Вот он!..» Она потупила глаза свои, но ненадолго; снова взглянула на красавца, снова запылала в лице своем и снова затрепе-

тала в своем сердце. Ей казалось, что любезный призрак, который ночью и днем прельщал ее воображение, был не что иное, как образ сего молодого человека, — и потому она смотрела на него как на своего милого знакомца. Новый свет воссиял в душе ее, как будто бы пробужденной явлением солнца, но еще не пришедший в себя после многих несвязных и замешанных сновидений, волновавших ее в течение долгой ночи. «Итак, — думала Наталья, — итак, подлинно есть на свете такой милый красавец, такой человек — такой прелестный юноша?.. Какой рост! Какая осанка! Какое белое, румяное лицо! А глаза, глаза у него, как молния; я, робкая, боюсь глядеть на них. Он на меня смотрит, смотрит очень пристально — даже и тогда, когда молится. Конечно, и я знакома ему; может быть, и он, подобно мне, грустил, вздыхал, думал, думал и видел меня, — хоть темно, однако ж видел так, как я видела его в душе моей».

Читатель должен знать, что мысли красных девушек бывают очень быстры, когда в сердце у них начинает ворошиться то, чего они долго не называют именем и что Наталья в сии минуты чувствовала. Обедня показалась ей очень коротка. Няня десять раз дергала ее за камчат-

ную телогрею и десять раз говорила ей: «Пойдем, барышня; все кончилось». Но барышня все еще не трогалась с места, для того что и прекрасный незнакомец стоял как вкопанный подле левого крылоса; они посматривали друг на друга и тихонько вздыхали. Старая мама, по слабости зрения своего, ничего не видала и думала, что Наталья читает про себя молитвы и для того нейдет из церкви. Наконец дьячок загремел ключами: тут красавица опомнилась и, видя, что церковь хотят запирать, пошла к дверям, а за нею молодой человек — она влево, он направо. Наталья раза два обступилась, раза два роняла платок и должна была ворочаться назад; незнакомец оправлял кушак свой, стоял на одном месте, смотрел на красавицу и все еще не надевал бобровой шапки своей, хотя на дворе было холодно.

Наталья пришла домой и ни о чем больше не думала, как о молодом человеке в голубом кафтане с золотыми пуговицами. Она была не печальна, однако ж и не очень весела, подобно такому человеку, который наконец узнал, в чем состоит его блаженство, но имеет еще слабую надежду им насладиться. За обедом она не ела, по обыкновению всех влюбленных, — ибо для чего не сказать нам прямо и просто,

что Наталья влюбилась в незнакомца? «В одну минуту? — скажет читатель. — Увидев в первый раз и не слыхав от него ни слова?» Милостивые государи! Я рассказываю, как происходило самое дело, не сомневайтесь в истине; не сомневайтесь в силе того взаимного влечения, которое чувствуют два сердца, друг для друга сотворенные! А кто не верит симпатии, тот поди от нас прочь и не читай нашей истории, которая сообщается только для одних чувствительных душ, имеющих сию сладкую веру!

Когда боярин Матвей после обеда заснул (не на вольтеровских креслах, так, как ныне спят бояре, а на широкой дубовой лавке), — Наталья пошла с нянею в светлицу свою, села под любимым окном, вынула из кармана белый платок, хотела что-то сказать, но раздумала — взглянула на окончины, расписанные морозом, оправила жемчужную повязку на голове своей и потом, смотря себе на колени, тихим и немного дрожащим голосом спросила у няни, каков показался ей молодой человек, бывший у обедни? Старушка не понимала, о ком говорит она. Надлежало изъясниться, но легко ли это для стыдливой девушки? «Я говорю о том, — продолжала Наталья, — о том, который — который был всех

лучше». Няня все еще не понимала, и красавица принуждена была сказать, что он стоял подле левого крылоса и вышел из церкви за ними. «Я не приметила его», — холодно отвечала старушка, и Наталья тихонько пожала прекрасными своими плечиками, удивляясь, как можно было его не приметить.

На другой день Наталья пришла всех ранее к обедне и вышла всех позже из церкви, но красавца в голубом кафтане там не было — на третий день также не было, и чувствительная боярская дочь не хотела ни пить, ни есть, перестала спать и насилу ходить могла, однако ж старалась таить внутреннее свое мучение как от родителя, так и от няни. Только по ночам лились слезы ее на мягкое изголовье. «Жестокий, — думала она, — жестокий! Зачем скрываешься от глаз моих, которые тебя всеминутно ищут? Разве ты хочешь безвременной смерти моей? Я умру, умру — и ты не выронишь ни слезки на гробе злосчастной!» Ах! Для чего самая нежнейшая, самая пламеннейшая из страстей родится всегда с горестию, ибо какой влюбленный не вздыхает, какой влюбленный не тоскует в первые дни страсти своей, думая, что его не любят взаимно?

На четвертый день Наталья опять пошла

к обедне, несмотря ни на слабость свою, ни на жестокий мороз, ни на то, что боярин Матвей, приметив накануне необыкновенную бледность ее лица, просил ее беречь себя и не выходить со двора в холодное время. Еще никого не было в церкви. Красавица, стоя на своем месте, смотрела на двери. Вошел первый человек — не он! Вошел другой — не он! Третий, четвертый — все не он! Вошел пятый, и все жилки затрепетали в Наталье — это он, тот красавец, которого образ навсегда в душе ее впечатлелся! От сильного внутреннего волнения она едва не упала и должна была опереться на плечо няни своей. Незнакомец поклонился на все четыре стороны, а ей особливо, и притом гораздо ниже и почтительнее, нежели прочим. Томная бледность изображалась на его лице, но глаза его сияли еще светлее прежнего; он смотрел почти беспрестанно на прелестную Наталью (которая от нежных чувств стала еще прелестнее) и вздыхал так неосторожно, что она приметила движение груди его и, невзирая на свою скромность, угадывала причину. Любовь, надеждою оживляемая, алела в сию минуту на щеках милой нашей красавицы, любовь сияла в ее взорах, любовь билась в ее сердце, любовь подымала руку ее,

когда она крестилась. Час обедни был для нее одною блаженною секундою. Все стали выходить из церкви; она вышла после всех, а с нею и молодой человек. Вместо того чтобы идти опять в другую сторону, он пошел уже следом за Натальею, которая поглядывала на него и через правое и через левое плечо свое. Чудное дело! Любовники никогда не могут насмотреться друг на друга, подобно как алчный корыстолюбец не может никогда насытиться золотом. У ворот боярского дому Наталья в последний раз взглянула на красавца и нежным взором сказала ему: «Прости, милый незнакомец!» Калитка хлопнула, и Наталье послышалось, что молодой человек вздохнул; по крайней мере она сама вздохнула. Старушка няня была на сей раз приметливее и, не дождавшись еще ни слова Натальи, начала говорить о незнакомом красавце, который провожал их от церкви. Она хвалила его с великим жаром, доказывала, что он похож на ее покойного сына, не сомневалась в знатном роде его и желала барышне своей такого супруга. Наталья радовалась, краснелась, задумывалась, отвечала: «Да!», «Нет!» — и сама не знала, что отвечала.

На другой, на третий день опять ходили к обедне, видели, кого видеть желали, — воз-

вращались домой и у ворот говорили нежным взором: «Прости!» Но сердце красной девушки есть удивительная вещь: чем оно довольно ныне, тем недовольно завтра — все более и более, и желаниям конца нет. Таким образом, и Наталье показалось уже мало того, чтобы смотреть на прекрасного незнакомца и видеть нежность в глазах его; ей захотелось слышать его голос, взять его за руку, быть поближе к его сердцу и проч. Что делать? Как быть? Такие желания искоренять трудно, а когда они не исполняются, красавице бывает грустно. Наталья опять принялась за слезы. Судьба, судьба! Ужели ты не сжалишься над нею? Ужели захочешь, чтобы светлые глаза ее от слез померкли? Посмотрим, что будет.

Однажды перед вечером, когда боярина Матвея не было дома, Наталья увидела в окно, что калитка их растворилась — вошел человек в голубом кафтане, и работа выпала из рук Натальиных, ибо сей человек был прекрасный незнакомец. «Няня! — сказала она слабым голосом. — Кто это?» Няня посмотрела, улыбнулась и вышла вон.

«Он здесь! Няня усмехнулась, пошла к нему, верно, к нему — ах, боже мой! Что будет?» — думала Наталья, смотрела в окно и видела,

что молодой человек вошел уже в сени. Сердце ее летело к нему навстречу, но робость говорила ей: «Останься!» Красавица повиновалась сему последнему голосу, только с мучительным принуждением, с великою тоскою, ибо всего несноснее противиться влечению сердца. Она вставала, ходила, бралась за то и за другое, и четверть часа показалась ей годом. Наконец дверь растворилась, и скрып ее потряс Натальину душу. Вошла няня — взглянула на барышню, улыбнулась и — не сказала ни слова. Красавица также не начинала говорить и только одним робким взором спрашивала: «Что, няня? Что?» Старушка как будто бы веселилась ее смущением, ее нетерпением — долго молчала и спустя уже несколько минут сказала ей: «Знаешь ли, барышня, что этот молодой человек болен?» — «Болен? Чем?» — спросила Наталья, и цвет в лице ее переменился. «Очень болен, — продолжала няня, — у него так болит сердце, что бедный не может ни пить, ни есть, бледен как полотно и насилу ходит. Ему сказали, что у меня есть лекарство на эту болезнь, и для того он прибрел ко мне, плачет горькими слезами и просит, чтоб я помогла ему. Поверишь ли, барышня, что у меня слезы на глазах навернулись? Такая жалость!» — «Что же,

няня? Дала ли ты ему лекарство?» — «Нет, я велела подождать». — «Подождать? Где?» — «В наших сенях». — «Можно ли? Там превеликий холод; со всех сторон несет, а он болен!» — «Что ж мне делать? Внизу у нас такой чад, что он может угореть до смерти; куда ж его вести, пока изготовлю лекарство? Разве сюда? Разве прикажешь ему войти в терем? Это будет доброе дело, барышня; он человек честный — станет за тебя богу молиться и никогда не забудет твоей милости. Теперь же батюшки нет дома — сумерки, темно — никто не увидит, и беды никакой нет: ведь только в сказках мужчины бывают страшны для красных девушек! Как думаешь, сударыня?» Наталья (не знаю отчего) дрожала и прерывающимся голосом отвечала ей: «Я думаю… как хочешь… ты лучше моего знаешь». Тут няня отворила дверь — и молодой человек бросился к ногам Натальиным. Красавица ахнула, и глаза ее на минуту закрылись; белые руки повисли, и голова приклонилась к высокой груди. Незнакомец осмелился поцеловать ее руку, в другой, в третий раз — осмелился поцеловать красавицу в розовые губы, в другой, в третий раз, и с таким жаром, что мама испугалась и закричала: «Барин! Барин! Помни уговор!» Наталья открыла

черные глаза свои, которые прежде всего встретились с черными глазами незнакомца, ибо они в сию минуту были к ним всего ближе; и в тех и в других изображались пламенные чувства, любовию кипящее сердце. Наталья с трудом могла приподнять голову, чтобы вздохом облегчить грудь свою. Тогда молодой человек начал говорить — не языком романов, но языком истинной чувствительности; сказал простыми, нежными, страстными словами, что он увидел и полюбил ее, полюбил так, что не может быть счастлив и не хочет жить без взаимной ее любви. Красавица молчала; только сердце и взоры говорили — но недоверчивый незнакомец желал еще словесного подтверждения и, стоя на коленях, спросил у нее: «Наталья, прекрасная Наталья! Любишь ли меня? Твой ответ решит судьбу мою: я могу быть счастливейшим человеком на свете, или шумящая Москва-река будет гробом моим». — «Ах, барышня! — сказала жалостливая няня. — Отвечай скорее, что он тебе нравен! Ужели захочешь погубить его душу?» — «Ты мил сердцу моему, — произнесла Наталья нежным голосом, положив руку на плечо его. — Дай бог, — примолвила она, подняв глаза на небо и обратив их снова на восхищенного незнакомца, — дай бог, чтоб

я была столько же мила тебе!» Они обняли друг друга; казалось, что дыхание их остановилось. Кто видал, как в первый раз целомудренные любовники обнимаются, как в первый раз добродетельная девушка целует милого друга, забывая в первый раз девическую стыдливость, пусть тот и вообразит себе сию картину; я не смею описывать ее, но она была трогательна — сама старая няня, свидетельница такого явления, выронила капли две слез и забыла напомнить любовнику об уговоре, но богиня непорочности присутствовала невидимо в Натальином тереме.

После первых минут немого восторга молодой человек, смотря на красавицу, залился слезами. «Ты плачешь?» — сказала Наталья нежным голосом, приклонив голову свою к его плечу. «Ах! Я должен открыть тебе мое сердце, прелестная Наталья![7] — отвечал он. — Оно еще не совершенно уверено в своем счастии». — «Что же ему надобно?» — спросила Наталья и с нетерпением ожидала ответа. «Обещай, что ты исполнишь мое требование». — «Скажи, скажи, что такое?

---

[7] Сноски: 7

Читатель догадается, что старинные любовники говорили не совсем так, как здесь говорят они; но тогдашнего языкамынемоглибытеперьипонимать. Надлежало только некоторым образом подделаться под древний колорит. (*Примеч. автора.*)

Исполню, все сделаю, что велишь мне». — «В нынешнюю ночь, когда зайдет месяц, — в то время, как поют первые петухи, — я приеду в санях к вашим воротам, ты должна ко мне выйти и ехать со мною; вот чего от тебя требую!» — «Ехать? В нынешнюю ночь? Куда?» — «Сперва в церковь, где мы обвенчаемся, а потом туда, где я живу». — «Как? Без ведома отца моего? Без его благословения?» — «Без его ведома, без его благословения, или я погиб!» — «Боже мой!.. Сердце у меня замерло. Уехать тихонько из дому родительского? Что же будет с батюшкою? Он умрет с горя, и на душе моей останется страшный грех. Милый друг! Для чего нам не броситься к ногам его? Он полюбит тебя, благословит и сам отпустит нас в церковь». — «Мы бросимся к ногам его, но через некоторое время. Теперь он не может согласиться на брак наш. Самая жизнь моя будет в опасности, когда меня узнают». — «Когда тебя узнают? Тебя, милого душе моей?.. Боже мой! Как люди злы, если ты говоришь правду! Только я не могу поверить. Скажи мне, как тебя зовут?» — «Алексеем». — «Алексеем? Я всегда любила это имя. Что ж беды, если тебя узнают?» — «Все будет тебе известно, когда ты согласишься сделать меня счастливым. Прелестная, милая Наталья!

Время проходит, мне нельзя быть долее с тобою. Чтобы родитель твой, которого я сам люблю и почитаю за добрые дела его, — чтобы родитель твой не сокрушался и не почитал дочери своей погибшею, я напишу к нему письмо и уведомлю, что ты жива и что он может скоро увидеть тебя. Скажи, скажи, чего ты хочешь: жизни моей или смерти?» При сих словах, произнесенных твердым голосом, он встал и смотрел огненными, пламенными глазами на красавицу. «Ты меня спрашиваешь? — сказала она с чувствительностью. — Разве я не обещала тебе повиноваться? С самого младенчества привыкла я любить моего родителя, потому что и он любит меня, очень, очень любит (тут Наталья обтерла платком слезы свои, которые одна за другою капали из глаз ее), — тебя знаю недавно, а люблю еще больше: как это случилось, не знаю». Алексей обнял ее с новым восхищением, снял золотой перстень с руки своей, надел его на руку Наталье, сказал: «Ты моя!» — и скрылся, как молния. Старушка няня проводила его со двора.

Вместе с читателем мы искренне виним Наталью, искренне порицаем ее за то, что она, видев только раза три молодого человека и услышав от него несколько приятных слов, вдруг реши-

лась бежать с ним из родительского дому, не зная куда, — поручить судьбу свою незнакомому человеку, которого, по собственным речам его, можно было счесть подозрительным, — а что всего более — оставить доброго, чувствительного, нежного отца… Но такова ужасная любовь! Она может сделать преступником самого добродетельнейшего человека! И кто, любив пламенно в жизни своей, не поступил ни в чем против строгой нравственности, тот — счастлив! Счастлив тем, что страсть его не была в противоположности с добродетелью, — иначе последняя признала бы слабость свою и слезы тщетного раскаяния полились бы рекою. Летописи человеческого сердца уверяют нас в сей печальной истине.

Что принадлежит до няни, то молодой человек (после того как он увидел Наталью в церкви) нашел способ переговорить с нею и склонил ее на свою сторону разными пышными обещаниями и подарками. Увы! Люди, а особливо под старость, бывают падки на серебро и золото. Старушка забыла то, что она более сорока лет служила беспорочно и верно в доме боярина Матвея, — забыла и продала себя незнакомцу. Однако ж, по остатку честности, взяла с него слово жениться на прекрасной Наталье и до того

времени не употреблять во зло ее любви и невинности.

Наталья, по уходе своего любовника, стояла несколько минут неподвижно; на лице ее видны были знаки сильных душевных движений, но не сомнения, не колеблемости, — ибо она уже решилась! И хотя тихий голос из глубины сердца, как будто бы из отдаленной пещеры, спрашивал ее: «Что ты делаешь, безрассудная?», но другой голос, гораздо сильнейший, в том же самом сердце отвечал за нее: «Люблю!»

Няня возвратилась и старалась успокоить Наталью, говоря ей, что она будет супругою молодого красавца и что жена, по самому закону, должна все оставить и все забыть для мужа своего. «Забыть? — прервала Наталья, вслушавшись в последние слова. — Нет! Я буду помнить моего родителя, буду всякий день об нем молиться. К тому же он сказал, что мы скоро бросимся к ногам батюшкиным, — не так ли, няня?» — «Конечно, барышня! — отвечала старушка. — А что он сказал, то будет». — «Верно, будет!» — сказала Наталья, и лицо ее стало веселее.

Боярин Матвей возвратился домой поздно и, думая, что дочь его уже спит, не зашел к ней в терем. Полночь приближалась — Наталья

думала не обо сне, а об милом друге, которому навеки отдала она сердце свое и которого с нетерпением ожидала к себе. Еще месяц сиял на небе — месяц, которым прежде глаза ее всегда веселились, теперь он стал ей неприятен; теперь думала красавица: «Как медленно катишься ты по круглому небу? Зайди скорее, месяц светлый! Он, он приедет за мною, когда ты сокроешься!» Луна опустилась — уже часть ее зашла за круг земной — мрак в воздухе сгустился — петухи запели — месяц исчез, и серебряным кольцом брякнули в боярские ворота. Наталья вздрогнула. «Ах, няня! Беги, беги скорее; он приехал!» Через минуту явился молодой человек, и Наталья бросилась в его объятия. «Вот письмо к твоему родителю», — сказал он, показав бумагу. «Письмо к моему родителю? Ах! Прочти его! Я хочу слышать, что ты написал». Молодой человек развернул бумагу и прочитал следующие строки: «Я люблю милую дочь твою боле всего на свете — ты не согласился бы отдать ее за меня — она едет со мною — прости нас! — Любовь всего сильнее — может быть, со временем я буду достоин называться зятем твоим». Наталья взяла письмо и, хотя не умела читать, однако же смотрела на него, и слезы лились из глаз ее. «Напиши, —

сказала она, — напиши еще, что я прошу его не плакать, не крушиться, и что эта бумага мокра от слез моих; напиши, что я не вольна сама в себе и чтобы он или забыл, или простил меня».

Молодой человек вынул из кармана перо и чернильницу — написал, что говорила Наталья, и оставил письмо на столе. Потом красавица, надев лисью шубу свою, помолившись Богу, взяв с собою тот образ, которым благословила ее покойная мать, и подав руку счастливому любовнику, вышла из терема, сошла с высокого крыльца, со двора, — взглянула на родительский дом, обтерла последние слезы, села в сани, прижалась к милому и сказала: «Вези меня куда хочешь!» Кучер ударил по лошадям, и лошади помчались, но вдруг раздался жалобный голос: «Меня покинули, меня, бедную, несчастную!» Молодой человек оглянулся и увидел бегущую няню, которая оставалась на минуту в светлице, чтобы прибрать некоторые из драгоценных Натальиных вещей, и которую наши любовники совсем было забыли. Лошадей удержали, посадили старушку, снова поскакали и через четверть часа выехали из Москвы. На правой стороне дороги, вдали, светился огонек; туда поворотили, и Наталья увидела деревянную, низенькую

церковь, занесенную снегом. Алексей (читатель не забыл имени молодого человека) — Алексей ввел любовницу свою во внутренность сего ветхого храма, освещенного одною маленькою, слабо горящею лампадою. Там встретил их старый священник, согбенный бременем лет, и дрожащим голосом сказал им: «Я долго ждал вас, любезные дети! внук мой уже заснул». Он разбудил мальчика, в углу церкви спавшего, поставил любовников перед налой и начал их венчать. Мальчик читал, пел, что надобно, с удивлением глядел на жениха и невесту и дрожал при всяком порыве ветра, который шумел в худое окно церкви. Алексей и Наталья молились усердно и, произнося обет свой, смотрели друг на друга с умилением и сладкими слезами. По совершении обряда престарелый священник сказал новобрачным: «Я не знаю и не спрашиваю, кто вы, но именем великого Бога, которого нам и мрак ночи и шум бури проповедует (в сие мгновение страшно зашумел ветер), — именем непостижимого, ужасного для злых, для добрых милосердного, обещаю вам благоденствие в жизни, если вы будете всегда любить друг друга, ибо любовь супружеская есть любовь святая, божеству приятная, и кто соблюдает ее в чистом сердце — в нечистом же

она жить не может, — тот приятен Всевышнему. Грядите с миром и помните слова мои!» Новобрачные приняли благословение от старца, поцеловали руку его, поцеловали друг друга, вышли из церкви и поехали.

Ветер заносил дорогу, но резвые кони летели как молния — ноздри их дымились, пар вился столбом, и пушистый снег от копыт их подымался вверх облаками. Скоро путешественники наши въехали в темноту леса, где совсем не было дороги. Старушка няня дрожала от страха, но прекрасная Наталья, чувствуя подле себя милого друга, ничего не боялась. Молодой супруг отводил рукою все ветви и сучья, которые грозили уколоть белое лицо супруги его. Он держал ее в своих объятиях, когда сани опускались в глубину сугробов, и жаркими поцелуями удалял холод от нежных роз, которые цвели на устах ее. Около четырех часов ездили они по лесу, пробираясь сквозь ряды высоких дерев. Уже лошади начинали утомляться и с трудом вытаскивали ноги свои из глубин снежных; сани двигались медленно, и наконец Наталья, пожав руку своего любезного, тихим голосом спросила у него: «Скоро ли мы приедем?» Алексей посмотрел вокруг себя, на вершины дерев, и сказал, что жилище его недалеко.

В самом деле, через несколько минут выехали они на узкую равнину, где стоял маленький домик, обнесенный высоким забором. Навстречу к ним вышли пять или шесть человек с пуками зажженной лучины и вооруженные длинными ножами, которые висели у них на кушаках.

Старушка няня, видя сие дикое, уединенное жилище посреди непроходимого леса, видя сих вооруженных людей и приметив на лицах их нечто суровое и свирепое, пришла в ужас, сплеснула руками и закричала: «Ахти! Мы погибли! Мы в руках — у разбойников!»

Теперь мог бы я представить страшную картину глазам читателей — прельщенную невинность, обманутую любовь, несчастную красавицу во власти варваров, убийц, женою атамана разбойников, свидетельницею ужасных злодейств и, наконец, после мучительной жизни, издыхающую на эшафоте под секирою правосудия, в глазах несчастного родителя; мог бы представить все сие вероятным, естественным, и чувствительный человек пролил бы слезы горести и скорби — но в таком случае я удалился бы от исторической истины, на которой основано мое повествование. Нет, любезный читатель, нет! На сей раз побереги слезы свои — успокойся — старушка няня

ошиблась — Наталья не у разбойников!

Наталья не у разбойников!.. Но кто же сей таинственный молодой человек, или, говоря языком оссианским, *сын опасности и мрака*, живущий во глубине лесов? Прошу читать далее.

Наталья потревожилась восклицанием няни, схватила Алексея за руку и, смотря ему в глаза с некоторым беспокойством, но с полною доверенностью к любимцу души своей, спросила: «Где мы?» Молодой человек взглянул со гневом на старушку, потом, устремив нежный взор на милую Наталью, отвечал ей с улыбкою: «Ты у добрых людей — не бойся». Наталья успокоилась, ибо тот, кого она любила, велел ей успокоиться!

Вошли в домик, разделенный на две половины. «Здесь живут люди мои, — сказал Алексей, указывая направо, — а здесь — я». В первой горнице висели мечи и бердыши, шишаки и панцири, а в другой стояла высокая кровать, и перед иконою Богоматери горела лампада. Наталья тут же поставила и свой образ, помолилась и, взглянув умильно на Алексея, низехонько поклонилась ему, как хозяину в доме. Молодой супруг снял с красавицы лисью шубу, дыханием своим отогрел ее руки, посадил ее на дубовую лавку,

смотрел на прелестную и плакал от радости. Милая Наталья вместе с ним плакала, ибо нежность и счастие имеют также слезы свои…

Красавица забыла любопытство, или, лучше сказать, она совсем не имела его, зная то, что милый душе ее не может быть злым человеком. Ах! Если бы все люди, сколько их было тогда в Русском царстве, в один голос сказали Наталье: «Алексей — злодей!», она бы с тихою улыбкою отвечала им: «Нет!.. Сердце мое знает его лучше, нежели вы; сердце мое говорит, что он всех любезнее, всех добрее. Я вас не слушаю».

Но Алексей сам говорить начал. «Любезная Наталья! — сказал он. — Тайна жизни моей должна тебе открыться. Воля Всевышнего соединила нас навеки; ничто уже не может разорвать союза нашего. Супруг не должен ничего скрывать от супруги своей. Итак, знай, что я сын несчастного боярина Любославского». — «Любославского? Возможно ли? Батюшка сказывал мне, что он пропал без вести». — «Его уже нет на свете! Выслушай. Ты не помнишь, но, конечно, слыхала о тех волнениях и бунтах, которые лет за тридцать перед сим возмущали спокойствие нашего царства. Некоторые из знатнейших честолюбивых бояр восстали против законной власти юного

государя, но скоро гнев божеский наказал мятежников — рассеялись, как прах, многочисленные их сообщники, и кровь главных бунтовщиков пролилась на лобном месте. Родитель мой по некоторому подозрению, но совершенно ложному, взят был под стражу. Он имел неприятелей, злых и коварных; представили доказательства мнимой его измены и согласия с мятежниками; отец мой клялся в своей невинности, но обстоятельства осуждали его, и рука вышнего судии готова была подписать ему смерть… надежда исчезала в душе невинного — один Всевышний мог спасти его — и спас. Верный друг отворил ему дверь темницы — и родитель мой скрылся, взяв с собою самых усерднейших слуг и меня, двенадцатилетнего сына своего. В пределах России не было для нас безопасности, мы удалились в ту страну, где река Свияга вливается в величественную Волгу и где многочисленные народы поклоняются лжепророку Магомету — народы суеверные, но страннолюбивые. Они приняли нас дружески, и мы около десяти лет жили с ними, не имели ни в чем недостатка, но беспрестанно горевали о своем отечестве; сидели на высоком берегу Волги и, смотря на ее волны, несущиеся от стран Российских, проливали жар-

кие слезы; всякая птица, летевшая с запада[8], казалась нам милее; всякую птицу, на запад летевшую, провожали мы глазами и — вздохами. Между тем отец мой ежегодно посылал в Москву тайного гонца и получал письма от своего друга, которые всегда подавали ему надежду, что невинность наша рано или поздно откроется и что мы с честию можем возвратиться в отечество. Но скорбь иссушила сердце моего родителя, силы его исчезали, и глаза покрывались густым мраком. Без ужаса чувствовал он приближение конца своего — благословил меня — и, сказав: «Бог и друг наш не оставят тебя», умер в моих объятиях. Не буду говорить тебе о горести бедного сироты; несколько месяцев глаза мои не просыхали. Я уведомил друга нашего о моем несчастии; в ответе своем, изъявляя душевную скорбь о кончине невинного страдальца, умершего в стране иноплеменных и погребенного в земле нехристианской, сей благодетельный друг звал меня в Россию. «Верстах в сорока от Москвы, — писал он, — в дремучем, непроходимом лесу, построил я уединенный домик, не известный никому, кроме меня и надежных людей моих. Там будешь ты

---

[8] Сноски: 8
То есть от России. (*Примеч. автора.*)

жить до времени в совершенной безопасности. Посланный знает сие место». Я изъявил благодарность мою гостеприимным жителям волжских берегов, простился с зеленою могилою родителя моего, поцеловал и оросил слезою каждый цветочек, каждую травку, на ней растущую, возвратился с верными слугами в пределы России, облобызал отечественную землю — и в густоте темного леса, на узкой равнине, нашел сей пустынный домик, где ты теперь со мною, любезная Наталья. Здесь встретил меня седой старец и сказал дрожащим голосом: «Ты сын боярина Любославского! Господин мой, верный друг его — тот, кто хотел быть вторым отцом твоим и строил для тебя сие жилище, — скончался! Но он помнил о сироте при кончине своей. Здесь найдешь все нужное для жизни; найдешь сокровища: они твои». Я поднял глаза на небо; молчал — и слезы мои катились градом. «Кто будет моим помощником? — думал я. — Моим наставником? Я один в свете!.. Всевышний! Ты, кому поручил меня родитель мой! Не оставь бедного!»

Я поселился в пустыне; видел у себя множество серебра и золота, но нимало им не утешался. Через несколько дней захотелось мне побывать в царственном граде, где никто не мог узнать

меня. Старый служитель моего благодетеля указал мне на деревах разные меты, которые вели к большой Московской дороге и которые никому, кроме нас, не могли быть понятны. Я увидел блестящие главы церквей, народное множество, огромные домы, все чудеса великого града, и радостные слезы сверкнули в глазах моих. Златые дни младенчества, дни невинности и забавы, проведенные мною в русской столице, представились моим мыслям как веселое сновидение. Я искал нашего бывшего дому и нашел одни пустые стены, в которых порхали летучие мыши… Хладный ужас разлился по моей внутренности.

Потом я часто бывал в Москве, останавливаясь в одной тихой гостинице и называя себя иногородним купцом, часто видал государя, отца народного, часто слыхал о благодеяниях родителя твоего, когда бояре, собираясь на площади против соборной церкви, рассказывали друг другу все добрые и похвальные дела, украшавшие столицу. Возвращаясь в пустыню, я сражался с дикими зверями, которых мы должны были истреблять для собственной нашей безопасности, но часто, выпуская из рук добычу, упадал на землю и проливал слезы. Везде было мне грустно — в пустом лесу и среди народа. С горестию

ходил я по улицам царственного града и смотря на людей, которые встречались со мною, думал: «Они идут к родным и ближним, их дожидаются, им будут рады — мне идти не к кому, меня никто не дожидается, никто о сироте не думает!» Иногда хотелось мне броситься к ногам государя, уверить его в невинности отца моего, в моей верности к царю благочестивому и поручить его милосердию судьбу мою; но какая-то могущественная невидимая рука не допускала меня исполнить сего намерения.

Пришла мрачная осень, пришла скучная зима: лесное уединение сделалось для меня еще несноснее. Я чаще прежнего стал ездить в город и — увидел тебя, прекрасная Наталья. Ты показалась мне ангелом божиим… Нет! Говорят, что сияние ангелов ослепляет глаза человеческие и что на них нельзя смотреть долго, а мне хотелось беспрестанно глядеть на тебя. Я видал прежде многих красавиц, дивился их прелестям и часто думал: «Господь Бог не сотворил ничего лучше красных московских девушек», но глаза мои на них смотрели, а сердце молчало и не трогалось — они казались мне *чужими*. Ты же первым взглядом влила какой-то огонь в мое сердце, первым взглядом привлекла к себе душу

мою, которая тотчас полюбила тебя, как *родную свою*. Мне хотелось броситься и прижать тебя к моей груди так крепко, чтобы ничто уже не могло разлучить нас. Ты ушла, и мне показалось, что красное солнце закатилось и ночь наступила. Я стоял на улице и не чувствовал снега, который на меня сыпался; наконец я пришел в себя — стал расспрашивать и, узнав, кто ты, возвратился в свою гостиницу и размышлял о милой дочери боярина Матвея. Батюшка часто говаривал мне о любви, которую почувствовал он к матери моей, увидев ее в первый раз, и которая не давала ему покоя до самого того времени, как их повели в церковь. «Со мною то же делается, — думал я, — и мне нельзя быть ни покойным, ни счастливым без милой Натальи. Но как надеяться? Любимый царский боярин захочет ли выдать дочь свою за такого человека, которого отец почитается преступником? Правда, если бы она полюбила меня… с нею и пустыня лучше Москвы белокаменной. Может быть, ошибаюсь — только мне казалось, что она взглядывала на меня ласково… Но я, верно, ошибаюсь. Как этому быть? Такое счастье не вдруг приходит!» Наступила ночь — и прошла, но глаза мои сном не смыкались. Ты беспрестанно была передо мною или в душе

моей — крестилась белою рукою своею и прятала ее под соболью шубейку. На другой день почувствовал я сильную боль в голове и превеликую слабость, которая заставила меня около двух суток пролежать на постели». — «Так! — прервала Наталья. — Так! Я это знала; сердце мое тосковало недаром. Ни на другой, ни на третий день не было тебя у обедни».

«Однако ж и самая болезнь не мешала мне о тебе думать. Один из слуг был в доме твоего родителя, виделся с твоею нянею и уговорил ее прийти ко мне в гостиницу. Я открыл старушке любовь мою, просил, кланялся, уверял в моей благодарности — наконец она согласилась быть мне помощницею. Прочее ты знаешь. Я видел тебя в церкви — иногда льстился быть любимым, примечая в глазах твоих нежную умильность и краску на лице твоем, когда встречались наши взоры, — наконец решился узнать судьбу мою — упал к ногам твоим, и бедный сирота стал счастливейшим человеком в свете. Мог ли я после твоего признания расстаться с тобою? Мог ли жить под другим кровом и всякий час беспокоиться и всякий час думать: «Жива ли она? Не угрожают ли ей какие опасности? Не тоскует ли ее сердце? Ах! Не сватается ли за прекрас-

ную какой-нибудь жених, богатый и знатный?» Нет, нет! Мне оставалось умереть или жить с тобою! Священник загородной церкви, который нас венчал, был не подкуплен, а упрошен мною: слезы мои тронули старца.

Теперь известно тебе, кто супруг твой; теперь совершились все мои желания. Грусть, скука! Простите! Для вас уже нет места в уединенном моем домике. Милая Наталья любит меня, милая Наталья со мною! Но я вижу томность в глазах твоих, тебе надобно успокоиться, любезная души моей. Ночь проходит, и скоро утренняя заря покажется на небе».

Алексей поцеловал Натальину руку. Красавица вздохнула. «Ах! Для чего нет с нами батюшки! — сказала она, прижавшись к сердцу супруга. — Когда мы с ним увидимся? Когда он благословит нас? Когда я при нем поцелую тебя, сердечного друга моего?» — «Тот, — отвечал Алексей, — тот милостивый Бог, который дал мне тебя, верно все для нас сделает. Положимся на Него: Он пошлет нам случай упасть к ногам твоего родителя и принять его благословение».

Сказав сии слова, он встал и вышел в переднюю горницу. Там сидели люди его с нянею, которая (уверившись, что они не разбойники и что длин-

ные ножи служат им только обороною от лесных зверей) перестала бояться, познакомилась с ними и с любопытством старой женщины расспрашивала о молодом их господине, о причине пустыннической жизни его, и проч. и проч. Алексей пошептал на ухо одному человеку, и через минуту никого не осталось в передней: старушку схватили под руки и увели в другую половину. Молодой супруг возвратился к своей любезной — помог ей раздеться — сердца их бились — он взял ее за белую руку… Но скромная муза моя закрывает белым платком лицо свое — ни слова!.. Священный занавес опускается, священный и непроницаемый для глаз любопытных!

А вы, счастливые супруги, блаженствуйте в сердечных восторгах под влиянием звезд небесных, но будьте целомудренны в самых высочайших наслаждениях страсти своей! Невинная стыдливость да живет с вами неразлучно — и нежные цветы удовольствия не завянут никогда на супружеском ложе вашем!

Уже солнце взошло высоко на небе и рассыпало по снегу миллионы блестящих диамантов, но в спальне наших супругов все еще царствовало глубокое молчание. Старушка мама давно встала, раз десять подходила к двери, слушала

и ничего не слыхала; наконец вздумала тихонько постучаться и сказала довольно громко: «Пора вставать — пора вставать!» Через несколько минут дверь отперли. Алексей был уже в голубом кафтане своем, но красавица лежала еще на постели и долго не могла взглянуть на старушку, стыдясь — неизвестно чего. Розы на щеках ее немного побледнели, в глазах изображалась томная слабость — но никогда Наталья не была так привлекательна, как в сие утро. Она оделась с помощию своей няни, помолилась Богу со слезами и дожидалась супруга своего, который между тем занимался хозяйством, приказывал готовить обед и прочее, что нужно в домашнем быту. Когда он возвратился к любезной супруге, она с нежностию обняла его и сказала тихим голосом: «Милый друг! Я думаю о батюшке. Ах! Он, верно, тоскует, плачет, сокрушается!.. Мне бы хотелось об нем слышать, хотелось бы знать…» Наталья не договорила, но Алексей понял ее желание и немедленно отправил в Москву человека, чтобы наведаться о боярине Матвее.

Но мы предупредим сего посланного и посмотрим, что делается в царственном граде. Боярин Матвей долго ждал к себе поутру милой своей Натальи и наконец пошел в ее терем. Там все было

пусто, все в беспорядке. Он изумился — увидел на столике письмо, развернул его, прочитал — не верил глазам своим — прочитал в другой раз — хотел еще не верить, — но дрожащие ноги его подогнулись, — он упал на землю. Несколько минут продолжалось его беспамятство. Образумившись, приказал он людям вести себя к государю. «Государь! — сказал трепещущий старец. — Государь!..» Он не мог говорить и подал царю Алексеево письмо. Чело благочестивого монарха помрачилось гневом. «Кто сей недостойный соблазнитель? — сказал он. — Но везде найдет его грозная рука правосудия». Сказал, и во все страны Русского царства отправились гонцы с повелением искать Наталью и ее похитителя.

Царь утешал боярина, как своего друга. Вздохи и слезы облегчили стесненную грудь несчастного родителя, и чувство гнева в сердце его уступило место нежной горести. «Бог видит, — сказал он, взглянув на небо, — Бог видит, как я любил тебя, неблагодарная, жестокая, милая Наталья!.. Так, государь! Она и теперь мила мне боле всего на свете!.. Кто увез ее из родительского дому? Где она? Что с нею делается?.. Ах! На старости лет моих я побежал бы за нею на край света… Может

быть, какой-нибудь злодей обольстил невинную и после бросит, погубит ее… Нет! Дочь моя не могла полюбить злодея!.. Но для чего же не открыться родителю?.. Кто бы он ни был, я обнял бы его как сына. Разве государь меня не жалует? Разве он не стал бы жаловать и зятя моего?.. Не знаю, что думать!.. Но ее нет!.. Я плачу: она не видит слез моих — умру: она не затворит глаз отца, который полагал в ней жизнь и душу свою!.. Правда, без воли Всевышнего ничего не делается; может быть, я заслужил наказание руки Его… Покоряюсь без роптания!.. Об одном прошу тебя, Господи: будь ей отцом милосердным во всякой стране. Пусть умру в горести — лишь бы дочь моя была благополучна!.. Нельзя, чтобы она не любила меня, нельзя… (Тут боярин Матвей взял письмо и снова прочитал его.) Ты плакала; эта бумага мокра от слез твоих: я буду хранить ее на моем сердце как последний знак любви твоей. Ах! Если ты ко мне возвратишься хотя за час до моей смерти… Но как угодно Всевышнему! Между тем отец твой, сирота на старости, будет отцом несчастных и горестных; обнимая их, как детей своих — как твоих братий, — он скажет им со слезами: — Друзья! Молитесь о Наталье». Так говорил боярин Матвей, и чувствительный

царь был тронут до глубины сердца.

Отныне, добрый боярин, жизнь твоя покрывается мраком печали — увы! и самая добродетель не может нас предохранить от горести! Беспрестанно будешь ты думать о милой сердца твоего — вздыхать и сидеть, подгорюнившись, перед широкими воротами своего дому! Никто, никто не принесет тебе вести о прелестной Наталье! Царские гонцы возвратятся, и вздох их будет ответом на вопросы твои. Сядут бедные за столы нищелюбивого боярина, но хлеб его покажется им горек — ибо они увидят скорбь на лице своего благодетеля!

Между тем Алексеев посланный возвратился в пустыню с известием, что боярин Матвей был во дворце царском и что во всей России велено искать его пропавшей дочери. Наталья хотела знать более и спрашивала, что написано было на лице родителя ее, когда он шел из дворца государева, вздыхал ли он, плакал ли, не произносил ли тихонько ее имени? Посланный не мог ответить ни да, ни нет, ибо он хотя и видел боярина, но смотрел на него не проницательными глазами нежной дочери. «Для чего, — сказала Наталья, — для чего не могу я превратиться в невидимку или маленькую птичку, чтобы

слетать в Москву белокаменную, взглянуть на родителя, поцеловать руку его, выронить на нее слезу горячую и возвратиться к милому моему другу?» — «Ах, нет! Я не пустил бы тебя! — отвечал Алексей. — Почему знать, что бы могло с тобою случиться? Нет, мой друг! Я не могу и вздумать о разлуке — а ты можешь!» Наталья почувствовала нежную укоризну и оправдалась перед супругом улыбкою, слезами и поцелуем.

Теперь надлежало бы мне описывать счастие юных супругов и любовников, сокрытых лесным мраком от целого света, но вы, которые наслаждаетесь подобным счастием, скажите, можно ли описать его? Наталья и Алексей, живучи в своем уединении, не видали, как текло или летело время. Часы и минуты, дни и ночи, недели и месяцы сливались в пустыне их, как струи речные, не различимые глазом человеческим. Ах! Удовольствия любви бывают всегда одинаковы, но всегда новы и бесчисленны. Наталья просыпалась и — любила; вставала с постели и — любила; молилась и — любила; что ни думала — все любила и всем наслаждалась. Алексей тоже, и чувства их составляли восхитительную гармонию.

Но читатель не должен думать, чтобы они

в уединенной жизни своей только смотрели друг на друга и сидели от утра до вечера, поджав руки, — нет! Наталья принялась за рукоделье, за пяльцы и скоро вышила разными шелками и разными узорами две прекрасные ширинки: первую для милого супруга, чтобы он утирал ею белое лицо свое, а другую для любезного родителя. «Когда-нибудь мы поедем к нему!» — говорила красавица и тихонько вздыхала. Что принадлежит до Алексея, то он, сидя подле своей супруги, рисовал пером разные ландшафты и картинки — любовался тем, что нравилось Наталье, и старался поправить то, что ей казалось несовершенным. Так, любезный читатель! Алексей умел рисовать, и притом весьма не худо, ибо сама природа выучила его сему искусству. Он видел образ кудрявых дерев в реках прозрачных и вздумал означать тень сию на бумаге; опыт был удачен, и скоро чертежи его сделались верными копиями натуры: не только дерева, но и другие предметы изображались им с величайшею точностию. Красавица смотрела на движение руки его и дивилась, как он мог одними чертами пера своего представлять разные виды: то рощу дубовую, то башни московские, то дворец государев. Но Алексей уже не сражался с дикими

зверями, ибо они (как будто бы из уважения к прекрасной Наталье, новой обитательнице их дремучего леса) не приближались к жилищу супругов и ревели только в отдалении. Таким образом прошла зима, снег растаял, реки и ручьи зашумели, земля опушилась травкою, и зеленые пучочки распустились на деревьях. Алексей выбежал из своего домику, сорвал первый цветочек и принес его Наталье. Она улыбнулась, поцеловала своего друга — и в самую сию минуту запели в лесу весенние птички. «Ах, какая радость! Какое веселье! — сказала красавица. — Мой друг! Пойдем гулять!» Они пошли и сели на берегу реки. «Знаешь ли, — сказала Наталья супругу своему, — знаешь ли, что прошедшею весною не могла я без грусти слушать птичек? Теперь мне кажется, будто я их разумею и одно с ними думаю. Посмотри: здесь, на кусточке, поют две птички — кажется, малиновки — посмотри, как они обнимаются крылышками; они любят друг друга так, как я люблю тебя, мой друг, и как ты меня любишь! Не правда ли» Всякий может вообразить себе ответ Алексеев и разные удовольствия, которые весна принесла с собою для наших пустынников.

Но нежная дочь, наслаждаясь любовию, не за-

бывала и своего родителя. Алексей должен был всякую неделю два или три раза посылать в Москву человека наведываться о боярине Матвее. Вести привозились одинаковые: боярин делал добрые дела, печалился, кормил бедных и говорил им: «Друзья! Помолитесь о Наталье!» Наталья вздыхала и смотрела на образ.

Однажды возвратился посланный с великою поспешностию. «Государь! — сказал он Алексею. — Москва в смятении. Свирепые литовцы восстали на Русское царство. Я видел, как жители престольного града собирались перед дворцом государевым и как боярин Матвей, именем царя православного, ободрял воинов; я видел, как толпы народные бросали вверх шапки свои, восклицая в один голос: «Умрем за царя, — государя! Умрем за отечество или победим литовцев!» Я видел, как русское воинство в ряды становилось, как сверкали его мечи, и бердыши, и копья булатные. Завтра выдет оно в поле под начальством воевод храбрейших». Сердце Алексеево затрепетало, кровь закипела — он схватил со стены меч отца своего — взглянул на супругу — и меч упал на землю — слезы показались в глазах его. Наталья взяла его за руку и не говорила ни слова. «Любезная Наталья! — сказал Алексей по неко-

тором молчании. — Ты желаешь возвратиться в дом к своему родителю?»

Наталья. С тобою, мой друг, с тобою! Ах, я не смела говорить тебе; только мне всегда казалось, что мы напрасно скрываемся от батюшки. Увидя нас, он так обрадуется, что все забудет, а я возьму за руку тебя и его, заплачу от радости и скажу: «Вот они; вот те, которых люблю, — теперь я совершенно счастлива!»

Алексей. Но мне надобно заслужить прежде милость царскую. Теперь есть к тому случай.

Наталья. Какой же, мой друг?

Алексей. Ехать на войну, сразиться с неприятелями Русского царства и победить. Царь увидит тогда, что Любославские любят его и верно служат своему отечеству.

Наталья. Поедем, мой друг! Лишь бы ты был со мною: я всюду готова.

Алексей. Что ты говоришь, милая Наталья? Там летают смертоносные стрелы, там рубятся мечами: как тебе ехать со мною?

Наталья. Итак, ты хочешь меня оставить? Хочешь моей смерти? Потому что я не могу жить без тебя. Давно ли, мой друг, давно ли говорил ты, что никогда не покинешь меня? А теперь думаешь ехать один, и еще туда, где летают

стрелы? Кто защитит тебя?.. Нет, ты возьмешь меня с собою — или бедная Наталья не мила уже сердцу твоему?

Алексей обнял свою супругу. «Поедем, — сказал он, — поедем и умрем вместе, если так Богу угодно! Только на войне не бывает женщин, милая Наталья!» Красавица подумала, улыбнулась, пошла в спальню и заперла за собою дверь. Через несколько минут вышел оттуда прекрасный отрок… Алексей изумился, но скоро узнал в сем юном красавце любезную дочь боярина Матвея и бросился целовать. Наталья оделась в платье своего супруга, которое носил он будучи тринадцати или четырнадцати лет. «Я меньшой брат твой, — сказала она с усмешкою, — теперь дай мне только меч острый и копье булатное, шишак, панцирь и щит железный — увидишь, что я не хуже мужчины». Алексей не мог нарадоваться своим милым героем, выбрал ему самое легкое оружие, нарядил его в панцирь, сделанный из медных колец (на которых было подписано: «С нами Бог: никто же на ны![9]»), вооружил людей своих, готовых умереть за лю-

[9] Сноски: 9

В Оружейной московской палате я видел много панцирей с сею надписью. (*Примеч. автора.*) «…никто же на ны» — никто против нас [не посмеет пойти] (*старослав.*).

безного господина, надел латы покойного отца своего — и через несколько часов в пустынном домике осталась одна Натальина мама с двумя стариками.

А мы оставим на несколько времени супругов наших, в надежде, что небо не оставит их и будет им защитою в опасностях там, где летают смертоносные стрелы, где мечи сверкают, как молнии, где копья трещат и ломаются, где кровь человеческая льется реками, где герои умирают за свое отечество и делаются бессмертными. Возвратимся в Москву — там началась наша история, там должно ей и кончиться.

Увы! Какая пустота в столице российской! Все тихо, все печально. На улицах не видно никого, кроме слабых старцев и женщин, которые с унылыми лицами идут в церковь молить Бога, чтобы Он отвратил грозную тучу от Русского царства, даровал победу православным воинам и рассеял сонмы литовские. Добросердечный, чувствительный царь стоит на высоком крыльце своем и с нетерпением ожидает вести от начальников воинства, пошедшего навстречу врагам многочисленным. Боярин Матвей неразлучен с царем благочестивым. «Государь! — говорит он. — Надейся на Бога и на храбрость своих под-

данных, храбрость, которая отличает их от всех иных народов. Страшно разят мечи российские; тверда, подобно камню, грудь сынов твоих — победа будет всегда верною их подругою». Так говорил боярин; думал о благе отечества — и тосковал о своей дочери.

В поту, в пыли прискакал вестник — царь встречает его на половине крыльца и дрожащею рукою развертывает письмо военачальников… Первое слово есть «победа»! «Победа!» — восклицает он в радости. — «Победа!» — восклицают бояре. — «Победа!» — народ повторяет — и во всем царственном граде раздавался один голос: «Победа!», и во всех сердцах было одно чувство: *радость*!

Начальники доносили государю обо всем с величайшею подробностию. Сражение было самое жестокое. Уже первый ряд русского воинства, теснимый бесчисленным множеством литовцев, начинал колебаться и хотел уступить врагу сильнейшему; но вдруг, как гром, загремел голос: «Умрем или победим!», и в то же мгновение от рядов российских отделился молодой воин и с мечом в руке бросился на неприятелей; за ним бросились и другие; все воинство двинулось и, восклицая: «Умрем или победим!»,

устремилось, как буря, на литовцев, которые, невзирая на великое число свое, скоро побежали и рассеялись. «Мы не можем, — писали начальники, — восхвалить по достоинству того юного воина; которому принадлежит вся честь победы и который гнал, разил неприятеля и собственною рукою пленил их предводителя. Повсюду следовал за ним брат его, прекрасный отрок, и закрывал его щитом своим. Он не хочет объявить имени своего никому, кроме тебя, государя. Побежденные литовцы спешат из пределов России, и скоро воинство твое возвратится со славою во град Москву. Мы сами представим царю непобедимого юношу, спасителя отечества и достойного всей твоей милости».

Царь с нетерпением ожидал своих героев и выехал встретить их в поле, вместе с боярином Матвеем и с другими чиновниками. В Москве никого не осталось; слабые старцы, забыв слабость, спешили за город навстречу к своим детям; супруги и матери, неся младенцев или ведя их за руки, спешили туда же. Первый ряд воинства показался — второй и третий; разноцветные знамена веяли над оными: воины шли с обнаженными мечами, ровным шагом, назади ехали конные — впереди начальники, под сению тро-

феев. Увидели государя, и восклицания: «Победа и здравие царю российскому!» — загремели в воздухе. Воеводы упали перед ним на колена. Он поднял их и сказал с улыбкою милости: «Благодарю вас именем отечества». — «Государь! — отвечали они. — Мы старались исполнить должность свою! Но Бог даровал нам победу рукою сего юного воина». Тут юный воин, стоявший подле них с потупленным взором, преклонил колено. «Кто ты, храбрый юноша? — спросил государь, простирая к нему правую руку свою. — Имя твое должно быть славно в пределах Русского царства». — «Государь! — отвечал юноша. — Сын осужденного боярина Любославского, скончавшего дни свои в стране иноверных, приносит тебе свою голову». Царь поднял глаза на небо. «Благодарю тебя, Боже, — сказал он, — что Ты посылаешь мне случай хотя отчасти загладить неправосудие и злобу людей и за страдание невинного отца наградить достойного сына! Так, храбрый юноша! Невинность родителя твоего открылась — к несчастию, поздно! Увы! Я был тогда незрелым отроком, и боярин Матвей еще не имел места в совете моем. Злые бояре оклеветали Любославского; один из них, кончая недавно жизнь свою, признался в несправедливости доносов, по которым судили

невинного. Видишь слезы мои. Будь же другом царя своего, первым по боярине Матвее!» — «Итак, память отца моего, — сказал Алексей, — чиста от поношения!.. Но я — я винен перед тобою, государь великий! Я увез дочь боярина Матвея из родительского дому!» Царь удивился. «Где же она?» — спросил он с нетерпением. Но боярин уже нашел дочь свою: прекрасная Наталья, в одежде воина, бросилась в его объятия; шишак спал с головы ее, и русые волосы по плечам рассыпались. Изумленный, восхищенный родитель не смел верить сему явлению, но сердце чувствительного старца сильным трепетом своим уверяло его, что милая нашлася. Едва мог он перенести радость свою и упал бы на землю, если бы другие бояре не поддержали его. Долго не говорил он ни слова, опустив голову на плечо Наталье, наконец назвал ее именем, как будто бы желая видеть, откликнется ли она, — назвал ее своею милою, прекрасною, — и при каждом ласковом слове сиял новый луч радости на лице его, которое так долго было печальным! Казалось, будто язык его учился произносить давно забытые имена: столь медленно он их выговаривал! И повторял столь часто! Наталья целовала его руки. «Ты меня так же любишь! — говорила

она. — Так же любишь!» И теплые ручьи слез договаривали за нее прочее. Все воинство пребывало в тишине и в молчании. Государь был тронут сердечно, взял Алексея за руку и подвел его к боярину. «Вот, — сказала Наталья, — вот — супруг мой! Прости его, родитель мой, и люби так, как меня любишь!» Боярин Матвей поднял голову, посмотрел на Алексея и подал ему дрожащую руку свою. Молодой человек хотел броситься перед ним на колени, но старец прижал его к своему сердцу вместе с милою дочерью…

Царь. Они достойны друг друга и будут твоим утешением в старости.

«Она дочь моя, — сказал боярин Матвей прерывающимся голосом, — он сын мой… Господи! Дай мне умереть в их объятиях!»

Старец снова прижал их к своему сердцу.

Читатель вообразит себе все последующее. Старушку няню привезли в город, боярин Матвей простил ее и, призвав к себе того священника, который венчал Алексея и Наталью, хотел, чтобы он снова благословил их в его присутствии. Супруги жили счастливо и пользовались особенною царскою милостию. Алексей оказал важные услуги отечеству и государю, услуги, о которых упоминается в разных исторических рукописях. Благодетельный боярин Матвей дожил до самой глубокой старости и веселился своей дочерью, своим зятем и прекрасными детьми их. Смерть явилась ему в виде юнейшего и любезнейшего внука его, он хотел обнять милого отрока — и скончался. Больше я ничего не слыхал от бабушки моего дедушки, но за несколько лет перед сим прогуливаясь осенью по берегу Москвы-реки, близ темной сосновой рощи, нашел надгробный камень, заросший зеленым мохом и разломленный рукою времени, — с великим трудом мог я прочитать на нем следующую надпись: «Здесь погребен Алексей Любославский с своею супругою». Старые люди сказывали мне, что на сем месте была некогда церковь — вероятно, самая та, где венчались наши любовники и где они захотели лежать и по смерти своей.

Лиодор

Уже холодные ветры навеяли бледность и мрак на печальную Природу, когда Агатон, Изидор и я поехали в деревню — наслаждаться меланхолическою осенью.

Никогда не забуду я сей осени, столь приятно нами проведенной, — никогда не забуду уединенных наших прогулок, когда мы, сидя на иссохшей траве высокого холма, смотрели на поля опустевшие, на редкие, унылые рощи — внимали шуму порывистого ветра, разносящего желтые листья, — чувствовали трепет в сердцах своих и с красноречивым молчанием друг друга обнимали. Счастлив, кто имеет нежную душу — душу, которая примечает все движения Природы и вместе с нею изменяется в чувствах своих — цветет и увядает вместе с нею! Все, что представляется глазам его в пространной области творения, размножает его бытие и бывает для него предметом наслаждения; всякая слеза, им проливаемая, рождает ему новую радость, иногда тайную, неизъяснимую, но тем глубже чувствуемую и тем блаженнейшую радость. Но еще стократно счаст-

ливее сей смертный, когда найдет он подобного себе человека, которого душа есть также чистое зеркало Природы. С чем можно сравнить быстроту того движения, с которым они, при первом взоре, бросаются обнять друг друга, и в глазах Неба заключить навеки священный союз дружества, союз твердейший основания земли? Кто опишет то несравненное удовольствие, с которым они сообщают друг другу свои симпатические чувства — иногда безмолвно — одним взором — одним пожатием руки? Милосердое Небо!.. в сию минуту катятся слезы мои на бумагу — слезы скорби — ах, нет! — слезы умиления, благодарности! Хотя вы, мои любезные — нежный Агатон, Изидор чувствительный! — сокрылись от глаз моих, подобно как восхитительные мечты летней ночи на заре исчезают; но в сердце моем остался цветущий ваш образ — и часто, в веянии ветерка, несущегося от могилы вашей, слышу я голос, утешительный и любезный; одна тонкая завеса разлучает нас; скоро и она подымется!.. Прости мне, милая Аглая! я возобновляю твою горесть; но ты сама велела мне говорить о друзьях наших; могли ли слезы удержаться в глазах моих?

Более месяца прожили мы в деревне, и никто из нас не чувствовал скуки. Часто бурные ветры

потрясали окончины в ветхом домике нашем и печально выли в трубе камина, перед которым мы по вечерам сиживали; часто поля покрывались снегом, но мы все еще в полях гуляли, не страшася ни вьюг, ни метелей. Наслаждаясь Натурою и дружеством, сердца наши не чувствовали в себе никакой пустоты, и потому мы не искали знакомства с соседними дворянами, которое могло бы прервать течение приятных минут наших и быть нам в тягость; но Судьба хотела нас познакомить с одним из них — и память его пребудет для меня всегда священною!

Однажды поутру шум ветра пробудил меня ранее обыкновенного. Друзья мои спали еще крепким сном. Я взял трость свою — ту самую, любезная Аглая, которую некогда ты мне подарила и которая была мне верным сотоварищем во всех дальних моих путешествиях, — и пошел в рощу, которая примыкала к нашему саду. Вообрази мое удивление, когда я под иссохшими ветвями высокого дуба увидел стоящего молодого человека в черном фраке, совсем мне незнакомого и притом такого, каких не много встречалось глазам моим в свете! Прекрасное, умное лицо — большие черные, огненные глаза, светлое зеркало великой души, — открытый, высокий

лоб, с тремя или четырьмя ровными, углубленными чертами, которые показывали опытность и претерпенные печали, — бледные щеки, с самою тонкою розовою оттенкою — и еще нечто такое, чего описать невозможно, но что всего сильнее действует на сердце, — одним словом, любезная Аглая, представь себе второго Изидора, когда ему было двадцать семь лет от роду и когда ты увидела его, после тяжкой сердечной болезни, стоящего в аллее Д***го саду.

Облокотясь на сук дерева, он казался углубленным в самого себя; северный ветер развевал его русые, ненапудренные волосы; круглая шляпа и белый платок лежали у ног его. Около трех минут я рассматривал его, не будучи им примечен; наконец он поднял голову, взглянул на меня — и отступил шаг назад. Я снял шляпу и, сказав *радуюсь доброй встрече*, протянул ему руку. Может быть, вид и голос мой показали ему искренность моего сердца: по крайней мере, он встретил руку мою на половине пути и пожал ее с улыбкою дружелюбия. «Извините меня, — продолжал я, — если приход мой вывел вас из приятной задумчивости; но хозяин спешил встретить любезного гостя». — «Я ваш гость! — сказал он таким голосом, который был

в совершенной гармонии с его лицом и показал мне новую красоту в душе его. — Итак, я стою на вашей земле?» — «Здесь в роще покоится прах моего деда». — «Простите же незнакомого, который приближался к этому освященному месту без вашего позволения». — «Он мне знаком, потому что я смотрю на него». — «Итак, вы верите физиогномике?» — «Верю Натуре и своему сердцу». — «Ах! и я верю им!» — Тут он обнял меня — и жар его объятия дал мне чувствовать нежность его сердца. «Но скажите мне, — продолжал он, держа меня за обе руки и смотря мне в глаза, — скажите, кто вы?» В немногих словах удовлетворил я любопытству его; после чего незнакомец мой сказал мне, что он помещик соседней нашей деревни, в которую недавно приехал и в которой со дня приезда живет уединенно; что он любит ходить пешком и, увидев нашу рощу, зашел в нее, не зная, кому она принадлежит, и не зная вообще никого из соседей своих. «Теперь вы узнаете по крайней мере троих, — сказал я, — и притом таких, которые постараются усладить ваше уединение, не лишая вас ни одной из приятностей его. Пойдемте; в десяти шагах отсюда под смиренною кровлею маленького домика найдете вы еще два сердца,

которые могут вам сочувствовать». — «Итак, вас трое? — сказал Лиодор, — но этого слишком много для одного дня; или судьба награждает меня за долгое терпение». — Он поднял шляпу свою; мы взялись за руки и через сад пришли в дом. Изидор и Агатон с удивлением посмотрели на прекрасного незнакомца, идущего к ним с распростертыми объятиями. «Это наш сосед, друзья мои! — сказал я, — он достоин любви вашей». — Они обняли и — полюбили друг друга.

Лиодор рассказал нам, что он вырос в чужих краях, много путешествовал и только за два месяца перед тем возвратился в Россию; что, прожив несколько недель в Москве, удалился он в деревню, которая была бы для него очень приятна, если бы иногда не чувствовал он нужды сообщать мысли свои подобному себе человеку. «Когда бы я знал, — примолвил он с улыбкою, — что у меня такие соседи! Но как было мне искать вас в таком отдалении от столицы, за дремучими лесами, на краю Европы и в то время, когда осенние бури выгоняют жителей из самых подмосковных деревень? Вы, право, чудные люди, государи мои!» — Напротив того, мы также называли его чудным человеком, смеялись и с чувством сердечного удовольствия пожимали

друг у друга руки.

Забыв время, он пробыл с нами до полуночи, согласился у нас ночевать, и на другой день поутру пошли мы вместе в его деревню, которая была в четырех верстах от нашей. Там, на высоком берегу реки Ревы, стоял большой деревянный дом, построенный в начале текущего столетия и весьма близкий к своему конечному разрушению; мох, трава и самые дерева росли на его гниющей кровле, под свесом которой гнездились тысячи голубей, галок и других птиц, составлявших криком своим всегдашний дикий концерт, и на которой, подобно башням, торчало, по крайней мере, двадцать слуховых окошек; он обведен был рвами, некогда глубокими, но временем отчасти заглаженными, — тут жил Лиодор с камердинером французом и с тремя слугами. Комнаты были одна другой меньше и темнее; везде свистал ветер, хлопали двери, стучали окончины (по большой части перебитые), и тряслись доски, по которым мы шли. Хозяин выбрал для своего кабинета самую верхнюю комнату, которая в свое время называлась *теремом* или *светлицею*. В сих теремах, любезная Аглая, сиживали в старину красные девицы, подгорюнившись, смотрели в поле чистое, ждали милых своему сердцу и,

не видя их идущих, проливали слезы горючие из ясных очей своих; вздохи тяжкие, сердечные, колебали грудь их белую.

Француз принес нам кофе и, дуя себе на руки, окостеневшие от холода, проклинал жестокий наш климат; а мы разговаривали о тех временах, когда русские дворяне, послужив верою и правдою, послужив Богу, царю и отечеству, возвращались в свои поместья, жили в деревенских замках своих как маленькие царики, гуляли с своими соседями, и в те веселые минуты, когда Оссианская *чаша радости* вокруг ходила, рассказывали друг другу свои славные подвиги и показывали раны, полученные ими в служении отечеству. Лиодор согласно с нами утверждал, что тогда было в дворянах наших более *духа*, более характерной *твердости*, нежели ныне, когда мы, погнавшись за блестящею *наружностию* других наций, оставили все то, чем Бог и Натура хотели отличить нас от других народов земли, оставили, *забыли самих себя* и сделались во всем *учениками*[10], не будучи мастерами ни в чем.

С сего времени мы были всякий день вместе с Лиодором, вместе обедали, вместе ходили

---

[10] Сноски: 10
И в самой литературе. (*Примеч. автора.*)

и вместе проводили вечера, рассуждая о разных важных предметах, сообщая друг другу примечания, сделанные нами в путешествиях, и взаимно объясняя наши мысли. — Давно уже расстался я с Лиодором — моря разделяют нас, — но я еще и теперь вижу его перед собою и слышу голос его. Ах, милая Аглая! как любезен казался он нам в каждом взоре, в каждом слове и в каждом своем движении! Все, все показывало в нем кроткую душу, любовь и чувствительность. Все было отменно приятно в устах его, даже и тогда, когда говорил он о вещах самых обыкновенных; потому что слова его изливались всегда из сердца и, будучи, так сказать, согреваемы внутренним огнем души, трогали слушателей и воспаляли воображение самых холодных людей. Но Лиодор не только говорить умел — он *умел* еще *слушать*, так что всякий любил ему рассказывать, открывать свою душу, и всякий говорил с ним лучше и красноречивее, нежели с кем-нибудь. Вид его, взоры, улыбка, слеза имели сию удивительную силу, отвечая совершенно мыслям и чувствам рассуждающего или повествующего. Всякий видел, что Лиодор понимал его даже и тогда, когда дело шло о тонкостях Кантовой метафизики; всякое нежное сердце находило в нем брата со-

чувственника, и всякий — любил Лиодора.

Около месяца жили мы таким образом. Почтенный мой знакомец Лафатер говорит, что, пробыв с человеком два дни от утра до вечера, проницательный наблюдатель успеет осмотреть все ущелины его сердца. Я думаю, что Лафатер прав и что человек никаким притворством не может скрыть своей внутренности от острых глаз (какими Натура, правда, не всех одаряет). По крайней мере, Лиодор против воли своей показал нам, что таилось в его душе, и мы скоро приметили, что, несмотря на его приятные улыбки, несмотря на веселый тон его обхождения, мрачная меланхолия глубоко в нем вкоренилась. Редко румянец показывался на щеках его, пробиваясь сквозь их бледность; часто природная светлость глаз его скрывалась в какой-то черной туче, и вдруг печальная ночь распространялась по лицу его, на котором за минуту перед тем сиял веселый полдень; часто после шутливого разговора он забывался, складывал руки, поднимал глаза на небо, и нечто подобное слезам блистало в глазах его; опомнившись, он улыбался и между тем старался вспомнить, о чем говорено было. Мы не хотели быть нескромными и боялись оскорбить его изъявлением нашего сожаления

(сколь оно ни было искренно), надеясь, что со временем он сам откроет нам свою душу. Ожидание нас не обмануло. Пришедши к нему однажды поутру, нашли мы его лежащего на постеле и со слезами целующего маленький портрет, висевший у него на шее. Увидев нас, хотел он его спрятать; но вдруг одумался, снова посмотрел на него, показал нам и с печальною улыбкою спросил: *хороша ли она?* Мы увидели изображение приятной, миловидной женщины и отвечали ему, что она прекрасна. «Была, — сказал он, — была! Ее уже нет на свете!» Тут Лиодор обоими руками прижал портрет к груди своей и хотел, казалось, остановить тем вздохи, силившиеся из нее вылететь. «Друзья мои! — продолжал он, видя, что мы тронулись, — друзья мои! я ввожу вас в святилище моего сердца!.. Знайте, что я любил, и так, как только один раз в жизни любить можно. Но Судьба лишила меня той женщины, которая была мне всего дороже, и сердце мое облеклось в вечный траур. Так, друзья мои! болезнь моя неизлечима, и самая дружба ваша может только на время облегчить ее. Я читаю огорчение в глазах ваших, простите мне!» — Мы обнимали его, и слезы катились из глаз наших. Наконец он спрятал портрет, встал, оделся, вышел с нами

из дому, сел на высоком берегу шумящей Ревы и сказал нам: «Здесь выслушайте мою историю, которая до теперешней минуты была вам только отчасти известна». — Мы сели вокруг его, и Лиодор, собравшись с мыслями, начал говорить.

«Мне было еще не более двенадцати лет, когда отец мой послал меня в Лейпцигский университет. Там душа моя получила первые систематические понятия о вещах, окружающих нас, и о самой себе; там научился я чувствовать и давать себе отчет в чувствах своих; там ученейшие мужи Германии образовали мой разум; там под руководством их вступил я в пространную область наук, обозрел магазины знаний человеческих, собранных в течение веков, и присвоил себе опыты времен прошедших; там душа моя возрастала вместе с моим телом, и чувство сего возрастания радовало меня несказанно. Сердце мое было спокойно, ученье меня веселило, часы отдохновения имели свои приятности — счастливое время!

Я прожил там уже около семи лет, когда получил печальное известие о смерти отца моего. Она меня тронула, огорчила, однако ж не так сильно, как бы смерть хорошего отца долженствовала огорчить чувствительного сына.

Причиною того была долговременная разлука наша, которая в юном сердце моем ослабила чувства сыновней нежности, загладив в памяти моей образ ее предмета. Если вы, друзья мои, будете когда-нибудь отцами и захотите, чтобы дети любили вас нежно, и если до того времени не переменится свойство сердца человеческого, то воспитывайте их при себе и не расставайтесь с ними надолго! Но письмо, которое через несколько месяцев после того получил я от матери моей, меня очень растрогало. Оно дышало любовию. Каждая строка, каждое слово проницало до сердца. Печальная супруга ожидала утешения от сына, который остался в свете единственным ее сокровищем. Она звала его в свои осиротевшие объятия, но более просила, нежели требовала. «Обрадуй своим присутствием горестное мое уединение (писала она); возврати мне сына, моего любезного, дражайшего сына, которому теперь единственно посвящено мое сердце; услади остаток дней моих, и милосердый Бог наградит тебя за то в течение твоей жизни. Если же привязанность тебя к учению не позволит тебе так скоро оставить Лейпцига, то, по крайней мере, отпиши ко мне, когда — когда нежная мать твоя может насладиться последним счастием

в своей жизни, счастием обнять тебя, милого своего друга, плакать и рыдать от радости, смотреть на тебя и не насмотреться. Но если Богу угодно будет прекратить дни мои до твоего возвращения, то будь уверен, что предметом последней мысли моей, последнего чувства, последней слезы и последнего вздоха был ты, любимец души моей!» — Я омочил бумагу сердечными слезами, простился с моими учителями и с каким-то печальным предчувствием поехал в свое отечество, которое сделалось для меня совсем чуждо и в котором не было для меня ничего драгоценного, кроме моей родительницы. Она жила и деревне близ Казани; я спешил туда — летел на двор, на крыльцо, в комнаты — и люди в черном платье меня встретили. Я затрепетал — предчувствие меня не обмануло — за три дни перед тем опустили гроб ее в землю!.. Вот первый удар Судьбы, который отозвался глубоко в моем сердце! Чувства меня оставили. Пришедши в память, я велел вести себя к ее могиле. Там-то, друзья мои, там-то почувствовал я, что у меня была мать и что я лишился ее! Холодная земля согрелась от слез моих — и несколько дней кряду, дней тоски и печали, находил я единственное утешение в том, чтобы рыдать над ее гробом. Мысль,

что я мог бы приехать к ней еще задолго до ее смерти — мог бы показать ей всю любовь свою, всю сыновнюю нежность и тем осчастливить конец ее, — мучила меня ужасно. Ах! при смерти своей (думал я) не имела она утешения видеть, что у нее есть чувствительный сын! Тысячу раз упадал я на колени и молил Бога, чтобы он позволил ей из тьмы духовного мира обратить взор свой в мир, оставленный ею, и видеть чувства моего сердца!

Наконец волнение скорби во мне утихло; но кончина моей матери покрыла для меня мраком все мое отечество, и мне казалось, что в пределах его нет для меня ни радости, ни веселия. Выронив последнюю слезу на гробе родительницы, на гробе отца моего, спешил я выехать из России и решился искать утешения в той земле, которой столица почиталась издавна столицею забав и удовольствий. Я приехал в Париж с деньгами и с хорошими рекомендациями; был ласково принят в разных домах; увидел великолепные зрелища всякого рода; пленялись глаза мои, пленялся слух мой; все призывало меня к утехам, к наслаждению; любовь моя к наукам и к художествам везде находила себе пищу; ученые, артисты меня ласкали, наставляли; я вос-

хищался общим тоном учтивости и полюбил приветливых и благородных французов. Вы сами путешествовали, друзья мои, и видели много земель и много наций; скажите, какой народ умеет так обласкать, так одолжить иностранца, как французы? (Мы согласились с Лиодором, и он продолжал свою повесть.)

Около трех лет прожил я в Париже безвыездно, и время сие прошло, как приятный сон. Наконец душа моя потребовала перемены в удовольствиях; охота к путешествиям во мне пробудилась, и я поехал в Гишпанию, в сие отечество романов, которое всегда представлялось моему воображению в привлекательном виде. Там нашел я прекрасную землю, прекрасный климат; там, палимый лучом солнечным, погружался я в прозрачные струи тихой Гвадианы и наслаждался всеми приятностями прохлады; там отдыхал я в пальмовых рощах и не завидовал никакой восточной роскоши. Но бедность, невежество и суеверие жителей; множество тунеядцев, которым дано право жить трудами других людей и которые стараются погашать в народе всякую искру просвещения для того, чтобы долее пользоваться его терпением; необработанность земли, опустевшие города и деревни; некоторое уныние,

некоторое усыпление, видимое во всей нации, — все это производило во мне неприятные чувства, и я вздыхал о бедных гишпанцах, нищих среди богатства и печальных в объятиях веселой Природы. — Оттуда возвратился я во Францию и приехал в Марсель. Тут, любезные друзья мои, узнал я все счастие, к которому Натура сотворила меня способным, — узнал, насладился им и потом лишился его навеки.

Марсель мне так полюбилась, что я решился прожить в ней несколько месяцев. Вы знаете этот город, средоточие восточного торгу; знаете славную его пристань, наполненную кораблями разных наций; знаете прекрасные его окрестности, плодоносные долины и холмы, украшенные цветущими садами и сельскими домиками или бастидами. Я познакомился с лучшими домами и проводил время свое или в приятных обществах, или в приятных уединенных прогулках.

В один прекрасный вечер отошел я от города далее обыкновенного; солнце, сиявшее на чистом небе, закатилось за зеленые пригорки и скрылось от глаз моих; луна явилась в серебряной своей ризе и тихо возвышалась на голубом своде; блестящие звезды, подобно свечкам, засветились

и засверкали вокруг ее; западный ветерок разносил всюду благовоние цветов, которыми усыпаны поля и луга Прованские. Я лежал на вершине холма и смотрел на зыби Средиземного моря, которое минута от минуты темнело в глазах моих. Наступила ночь, самая тихая и приятная, такая, какою только в южных землях Европы наслаждаться можно. Город вдали осветился многочисленными огнями и вместе с окружными деревеньками и бастидами представлял глазам моим нечто волшебное. Воображение мое мечтало; наконец я забыл все окружавшее меня и погрузился в некоторое восхитительное усыпление. Но вдруг нежный, гармонический голос, соединенный с тихими звуками гитары, в веянии ветерка прикоснулся к моему слуху и приятным образом возбудил душу мою к чувствованию внешних впечатлений. Я начал слушать — ветерок нес его от стены одного сада. Я пошел туда — приближился к самой стене — приложил ухо к отверстию, в ней бывшему, и услышал сло-

ва следующей Киабреровой песни[11]:

La Violetta
Che in full'erbetta
Apre at mattin novella,
Di, noa e cofa

Tutta adorofa,
Tutta leggiadra e bella?

Si certamente,
Che dolcemente
Ella ne fpira odori;
E n'empie il petto
Di bel di letto
Col bel de' fuoi eolori?

---

[11] Сноски: 11

Не прекрасна ли фиалка,
Не прельщает ли собой?
Не амброзией ли дышит,
Утром расцветя весной?

То алеет, то белеет
Сей цветочек в красный день;
Сладкий дух свой изливает
Кроясь в травке под кустом.

Что же с нежною фиалкой,
Что же будет наконец?

Ах! несчастная томится,
Сохнет, исчезает вдруг.

(Перевод автора.)

Vaga roffeggia,
Vaga biancheggia
Tra l'aure mattutine;
Pregio d'Aprile
Via piu gentite –
Ma che divine al fine?
Ahi, che in brev'ora,
Come l' Aurora,
Lunge da moi fen vola
Ecco languire,
Ecco pirire
La mifera Viola.

Никогда еще, любезные друзья мои, никогда не чувствовал я от пения такого удовольствия, какое тогда почувствовал; голос (он был женский) сливался с тонами струн, проницал мне прямо в сердце и разливал неописанную сладость по всем его фибрам; грудь моя томилась в нежных чувствах; я таял в восторгах, и слезы струились из глаз моих. Вдруг пение умолкло; я все слушал, но тщетно! везде царствовало глубокое молчание. Мне захотелось видеть небесную певицу — сердце мое говорило, что она прекрасна: кто же не верит сердцу? Я смотрел в отверстие,

но не видел ничего, кроме зелени и мрака. Любопытство меня мучило; я пошел подле стены и, к приятному моему удивлению, нашел садовую дверь, до половины растворенную. Вы сами догадаетесь, что я не усомнился войти в сад, хотя весьма бережно — беспрестанно осматриваясь вокруг, перекрадываясь из аллеи в аллею и боясь ступить на траву всею ногою, чтобы не сделать шуму и не испугать моей певицы. Но долго искал ее тщетно и начал уже думать, что она ушла из саду, как вдруг сквозь ряд деревьев увидел на берегу чистого бассейна сидящую молодую турчанку. Вы видели ее изображение, друзья мои; но оно не представляет ни тысячной доли ее прелестей. Если бы вы тогда на нее взглянули, как она на дерновом канапе сидела, устремив блестящие черные глаза свои на светлый месяц, который с высоты лобызал ее своими лучами и освещал снежную белизну лица ее, алые щеки, алые губы, подобные розе, к которой ни дыхание бури, ни рука смертного не прикасалась! Если бы вы, по крайней мере, взглянули на зыблющийся образ ее в кристальной воде бассейна, образ, которым, казалось, и самые струи любовались! Без того вам трудно иметь понятие о чувствах, с какими я рассматривал незнакомую красавицу,

стоя неподвижно под ветвями дерев и страшась дыханием своим пошевелить на них листочек, чтобы не прервать священного молчания, которое вокруг ее все предметы соблюдали. Наконец она встала — прелестный рост, прелестный стан! — посмотрела вокруг себя, сняла с головы своей белую кисейную чалму, на которой блистал крупный восточный жемчуг, — черные волосы ее покатились по плечам и упали почти до самой земли. Потом расстегнула она верхнее свое платье, скинула его — трепет разлился по моим жилам — я увидел грудь белее Паросского мрамора, подобную полному месяцу, грудь, которая могла бы служить моделью Фидиасу, когда он образовал Медицейскую Венеру. Тут мрак покрыл глаза мои — я не видал более ничего, и через несколько минут, как будто бы сквозь приятный сон, услышал в бассейне тихое плесканье. Ночь была тепла — прекрасная турчанка освежалась в прохладном кристалле.

Но скоро упоение, чувств моих прервалось от сильного лая; я вздрогнул и увидел подле себя маленькую собачку, которая со всех сторон на меня бросалась, хватала за полу и подавала госпоже своей громкую весть о близости чужого человека. Признаюсь, что я испугался и не знал, что делать; наконец, опомнившись, побежал к дверям, к счастию, скоро сыскал их и вышел из саду. Часы мои показывали полночь; я возвратился в город и в великом утомлении бросился на постелю…

1792

Юлия

Женщины жалуются на мужчин, мужчины на женщин: кто прав? кто виноват? — Кому решить тяжбу? — Если мне, то я, ничего не слушая и не разбирая, оправдаю… любезнейших — следственно, женщин?.. Без сомнения. Но мужчины будут недовольны моим решением; докажут мое пристрастие; объявят, что я подкуплен… милым взором какой-нибудь Лидии, приятною улыбкою какой-нибудь Арефы; перенесут дело в вышний суд, и приговор мой останется — увы! — без всякого действия.

Вот маленькое предисловие к следующей повести.

Юлия была украшением нашей столицы; являлась — и мужчины только на нее смотрели, только ею занимались, только ее слушали. А женщины?.. женщины тихонько говорили между собою и с лукавою усмешкою взглядывали на Юлию, стараясь заметить в ней какой-нибудь недостаток, который хотя несколько мог бы успокоить их самолюбие. Тщетное старание! Юлия сияла как солнце: зависть искала в нем черных

пятен, не находила и, с болию в глазах, с отчаянием в сердце, должна была… идти прочь!

Нужно ли сказывать, что все молодые люди обожали Юлию и почитали за славу обожать ее? Один вздыхал, другой плакал, третий играл ролю томного меланхолика; и обо всяком, кто задумывался, говорили: «Он влюблен в Юлию!»

Что же Юлия? Любила более всего — самое себя; с гордою улыбкою смотрела направо, налево и думала: «Кто мне подобен? кто меня достоин?» *Думала*, прошу заметить; а не *показывала*. Удивляясь красоте и разуму ее, всякий удивлялся между прочим и скромности ее взоров: искусство, одним милым женщинам свойственное!

Но мало-помалу, приближаясь к концу второго десятилетия жизни своей, Юлия стала чувствовать, что фимиам суетности есть дым; хотя весьма приятный, но все дым, который худо питает душу. Как ни обожай себя; как ни любуйся своими достоинствами — не довольно! Надобно любить что-нибудь кроме магической буквы Я — и Юлия начала с большим вниманием рассматривать многочисленную толпу своих искателей. Иногда взор ее отдавал преимущество молодому Легкоуму, который в рассуждении красоты мог бы поспорить с самим Купидоном, и не занимался

ничем, кроме Юлии и — зеркала; иногда статному Храброну, лаврами увенчанному воину, которому недоставало только греческого платья, чтоб быть совершенным Марсом; иногда забавному Пустослову, который, несмотря на важность судейского звания своего, вертелся на одной ноге, как Вестрис, сочинял всякий день по десяти французских каламбуров и знал наизусть *лексикон анекдотов*. Все ненадолго — через минуту Легкоум казался ей безрассудным, самолюбивым мальчишкою, Храброн — видным драгуном, и более ничего, забавный Пустослов — скучною обезьяною. Наконец глаза ее остановились на любезном Арисе, который в самом деле был любезен; весы склонились на его сторону, и сердце с разумом на сей раз согласились.

Кто был Арис? — Молодой человек, воспитанный в чужих краях под смотрением не наемного гофмейстера, но благоразумного и нежного отца своего. Полезные и приятные знания украшали его душу, добродетельные правила — сердце. Не будучи красавцем, он нравился своею миловидностию и кроткими, любезными взорами, одушевленными огнем внутреннего чувства. Он краснелся, как невинная девушка, от всякого нескромного слова, сказанного в его присут-

ствии; говорил не много, но всегда основательно и приятно; не старался блистать ни умом, ни знаниями и слушал каждого, по крайней мере, с терпением. Чувствуют ли в свете цену таких людей? Редко. Там сусальное золото предпочитается иногда истинному; скромность, подруга достоинств, остается в тени своей, а дерзость заслуживает венок и рукоплескание.

Арис любил Юлию — как не любить того, что прекрасно и любезно? — но бесчисленное множество ее обожателей устрашало его. Он смотрел на нее издали, не вздыхал, не клал руки на сердце с томным видом; одним словом, не думал представлять картинного любовника: но Юлия знала, что он любил ее страстно. Дивитесь, если угодно, проницанию красавиц! Скорее, не приметят они солнца на ясном небе в полдень, нежели действия своих прелестей в глазах нежного мужчины, как бы ни хотел он скрывать чувства свои. Юлия отличала Ариса от других искателей, ободрила его застенчивость приятным взглядом, приятною улыбкою; начала с ним говорить, ласкать его, показывать уважение к его достоинствам, внимание к его словам, желание видеть его чаще. «Завтра вы будете в концерте, в саду; завтра вы будете к нам обедать, ужинать;

вчера было у нас скучно: вы не хотели к нам приехать!» — Арис не был из числа тех людей, которые малейшую ласку со стороны женщин принимают за доказательство любви и почитают себя счастливыми Адонисами тогда, когда об них и не думают; однако ж, несмотря на скромность свою, он позволил себе надеяться; а надежда для страсти есть то же, что тихий апрельский дождь для молодой зелени, что ветер для искры. Он готов был броситься на колени и сказать Юлии: «Будь моя навеки!»… чего Юлия ожидала, чего она хотела, и, конечно, не для того, чтобы отвечать: *нет!* как вдруг на горизонте большого света явился новый феномен, который обратил на себя общее внимание: молодой князь N*, любимец природы и счастия, которые осыпали его всеми блестящими дарами своими; знатный, богатый, прекрасный собою. Во всех обществах говорили о молодом князе; все хвалили его, а более всех женщины, особливо те, на которых он взглядывал ласковее, нежели на других, которым он сказал пять или шесть приятных слов. Не могли надивиться уму его — даже и тогда, когда он говорил о погоде. Не мудрено — разгоряченное воображение есть микроскоп, который все увеличивает в тысячу, в миллион раз, и люди

с таким же упрямством могут искать остроумия там, где нет его, с каким иногда не хотят чувствовать, где оно есть.

Между тем носился по городу слух, что князь нечувствителен к женским прелестям; что Амуровы стрелы не берут его сердца; что оно посредством тайной эластической силы сжимается и остается невредимо; что бедный Венерин сын, желая ранить его, опустошил колчан свой, и все понапрасну. Какой вызов для самолюбия женщин, какая слава для победительницы! И всякой из них казалось, что Купидон, огорченный, расплаканный, подходит к ней, берет ее за руку и с умильным взором говорит: «Отмсти, отмсти за меня, или я умру с горя!» Умереть Купидону! Боже мой! какой ужас! зачем будет жить в свете без прелестного малютки? Надобно за него вступиться; надобно помочь ему, надобно отмстить, и — чего бы то ни стоило — тронуть, победить, пленить нового Алькида; и все мастера золотых дел в нашей столице занялись одною работою: кованием цепей по заказу красавиц[12]. Страшись, ветреный князь! Но князь улыбался,

[12] Сноски: 12

Вот отчего вошли в моду золотые цепи, которые за несколько времени перед сим гремели и сияли навсех наших молодых женщинах. (*Примеч. автора.*)

расхаживал как гордый лебедь, и — в одном публичном собрании — встретился с Юлиею. За ним все красавицы, за нею все молодые люди — какая встреча! Они посмотрели друг на друга: какой взор! Юлия затмевала женщин, князь N* мужчин. «Он должен любить ее!» — думали первые. «Она должна любить его!» — думали последние. Те и другие потупили глаза в землю, простились с надеждою и разошлись в разные стороны. Один Арис остался подле Юлии. Он начал говорить, ему отвечали сухо, коротко, казалось, что она была в рассеянии.

На другой день Арис приехал к Юлии; но головная боль не позволила ей выйти из своей комнаты. На третий он увидел ее на бале: князь сидел подле нее, князь танцевал с нею, князь занимал ее приятным своим разговором. Арису поклонились учтиво — *учтиво* — более ничего. Спросили, здоров ли он? и не дожидались ответа. Арис подошел с другой стороны; его не приметили, и как приметить? он подошел не оттуда, где сидел князь. Бедный Арис! Догадайся.

Ты мог быть счастлив; но минута прошла! Что делать? Удалиться. Он то и сделал; не нужно сказывать, с каким чувством. Оставим его. Пусть он поплачет в уединении и, если можно, забудет

милую ветреницу.

Между тем Юлия восхищалась князем. Молча, он казался ей Антиноем[13]; когда говорил, Цицероном; когда говорил: *Юлия, я обожаю тебя!* полубогом. Он не обманывал, и в самом деле пленился ее красотою, так, что не хотел быть ни в одном концерте, где не пела Юлия; ни на одном бале, где не танцевала Юлия; ни на одном гульбище, где не гуляла Юлия. Он любил прежде играть в карты: для Юлии оставил их. Любил часа по три в день проводить с английскими лошадьми своими: для Юлии забыл их. Любил спать до двух часов за полдень: для Юлии переменил образ жизни и редко не просыпался в полдень, чтобы на крыльях Зефира или, по крайней мере, в великолепной английской карете лететь к Юлии. Такая любовь не шутка. Вы скажете, что в рыцарские времена любили иначе; государи мои! всякий век имеет свои обычаи: мы живем в осьмом-надесять! Красавицы наши снисходительны и жалостливы, никоторая из них, сидя в ложе, не бросит перчатки на гриву разъярен-

[13] Сноски: 13

Славный красавец, которому император Адриан посвятил храм. (*Примеч. автора.*)

ного льва и не пошлет за нею своего рыцаря[14], для того, что рыцарь — не пойдет за нею!

Юлия думала, что князь не мог жить без нее; только ей казалось чудно, что он, говоря беспрестанно о сердце, никогда не упоминал о руке. Многие из приятельниц тихонько поздравляли ее с таким завидным женихом; но жених молчал. Наконец она дала ему почувствовать свое удивление; нежный князь оскорбился. «Юлия сомневается в силе прелестей своих! — сказал он с жаром. — Юлия хочет променять огненного Амура на холодного Гименея! милую улыбку первого на вечную угрюмость последнего! гирлянду розовую на цепь железную! О, Юлия! Любовь не терпит принуждения; одно слово, и все блаженство исчезнет! Мог ли бы Петрарка в узах брака любить свою Лауру так пламенно? Ах нет! воображение его не произвело бы ни одного из тех нежных сонетов, которыми я восхищаюсь. Так любить должно, и такой любви достойна Юлия!» Между тем Юлия побледнела. Князь увидел, что его философия ей не нравится; надобно

---

[14] Сноски: 14

Это случилось во Франции, при короле Франциске I, в то время, как звериные сражения были любимою забавою двора. Одна молодая дама, сидя в амфитеатре, нарочно уронила свою перчатку на то место, где сражались львы, и сказала рыцарю Делоржу: *подними ее — или ты меня не любишь!* (*Примеч. автора.*)

было переменить язык, чтобы успокоить красавицу. «По крайней мере, — сказал он, — продлим, сколько можно, время любви нашей; оно уже никогда, никогда не возвратится, прелестная Юлия!» Тут он вздохнул. Юлия не могла с ним согласиться; она требовала верного слова. Князь дал его и в награждение за то хотел, чтобы она позволила ему некоторые вольности в обхождении. Всякий день присваивал он себе новое право… два жаркие сердца бились так сильно, так близко друг ко другу… Но скромность есть нужная добродетель и для самого сказочника. К тому же, не знаю отчего, собственное сердце мое бьется так сильно, когда я воображаю себе подобные случаи… Может быть, какие-нибудь темные воспоминания… Оставим…

Оставим все подробности и скажем просто, что бывали минуты, в которые одна богиня невинности могла спасти Юлиину невинность. Она почувствовала опасность, и князь принужден был назначить день для торжественной помолвки. В ожидании сего дня он истощил все возможные хитрости, чтобы победить ее твердость, но тщетно! В самое то время, когда ей, по всем человеческим вероятностям, надлежало забыться, она строгим взором отсылала его

от себя, по крайней мере, шага на два, так что он лишился всей надежды быть счастливо-дерзким без имени супруга.

Однажды поутру, когда Юлия открыла глаза и с первою мыслию представила себе любезного своего князя, вручили ей письмецо следующего содержания:

«Вы любезны, но что любезнее вольности? Мне горестно расстаться с вами, но мысль о вечной обязанности еще горестнее. Сердце не знает законов и перестает любить, когда захочет; что ж будет супружество? несносное бремя. Вы не хотели любить по-моему, любить только для удовольствия любви, любить, пока любишь: итак — простите! Называйте меня вероломным, если угодно; но давно говорят в свете, что клятва любовников пишется на песке и что самый легкий ветерок завевает ее. Впрочем, с такими милыми свойствами, с такими прелестями вам нетрудно найти достойного супруга… может быть, верного, постоянного! Родятся Фениксы, но я, в сем смысле, не Феникс; и потому оставляю вас в покое. Меня уже нет в Москве. Простите! Князь N*».

Юлия затрепетала и, следуя обыкновению новых Дидон, упала в обморок. Через несколько

минут опомнилась, для того чтобы опять забыться. Наконец, собрав силы свои, она нашла для себя некоторое облегчение в том, чтобы проклинать мужчин. «Они все изверги, злодеи, вероломные; тигрица воспитала их молоком своим; под языком носят они змеиный яд, а в сердце их шипит ехидна. Слезы их — слезы крокодиловы; поверь им, и гибель неизбежна!» — Такими нежными красками писала портрет наш отчаянная Юлия. Извинительно, но справедливо ли? В одну ли форму отлиты сердца мужчин? Могут ли все отвечать за одного?.. Но человек в страсти есть худой логик: *один* кажется ему *всеми, а все одним*.

Не позже как на другой день узнали в городе о разрыве наших любовников. «Князь N* оставил Юлию!» — говорили мужчины, пожимая плечами. «Князь N* оставил Юлию», — говорили женщины с коварною улыбкою, и всякая из них думала: «Меня бы он не оставил!» Как показаться в свете? Юлия возненавидела его и несколько времени не выходила из своего кабинета.

Недели через две после сей истории приехал к ней Арис. Она подумала… и велела его пустить. Бедный Арис! он должен был страдать вместе со всеми мужчинами от стрел Юлиина красноречия и слушать с видом кающегося преступника,

когда бранили непостоянство и вероломных! Другой на его месте взглянул бы на Юлию такими глазами, что она, конечно бы, закраснелась и замолчала; но добрый Арис любил, не мог преодолеть страсти своей и приехал не для того, чтобы мстить огорченной красавице.

Юлия довольна была его посещением; желала видеть его в другой, в третий раз, и через несколько времени сердце ее перестало кипеть гневом на мужчин. Арисова нежность, кротость, сердечные достоинства, которых в светском шуме не могла она так сильно и живо чувствовать, тронули ее душу в искренних разговорах тихого кабинета. «Для чего, — сказала Юлия сквозь слезы, — для чего другие мужчины не подобны вам! Тогда нежнейшая склонность нашего сердца не была бы для нас источником тоски и горести…» Арис воспользовался сею минутою, и Юлия не могла отказаться от руки его, с тем условием, чтобы оставить навсегда коварный свет, как она говорила, стараясь загладить в мыслях своих последние черты легкомысленного князя N*. «Коварный свет, недостойный быть свидетелем нашего благополучия, любезный Арис! Презрим суетность его — он мне несносен — и удалимся в деревню!» — «Все дни мои, — отвечал он

с радостными слезами, — будут посвящены твоему удовольствию, несравненная Юлия! Я рад жить с тобою на краю мира; никогда, никогда не оскорблю тебя ни взором, ни упреком, ни жалобою. Воля твоя — мой закон; ты делаешь меня счастливым; угадывать твои желанья, исполнять их, зависеть от тебя совершенно есть священный долг моей благодарности!» Арис не обманывает Юлию; а Юлия — увидим!

Первые шесть или семь недель протекли для них в деревне, как шесть или семь веселых дней. Добродетельный супруг восхищался прелестною супругою всякой час, всякую минуту. Юлия была чувствительна к его нежности, и сердца их сливались в тихих восторгах. Казалось, что сама природа брала участие в их радостях: она цвела тогда во всем пространстве садов своих. Везде благоухали ясмины и ландыши; везде пели соловьи и малиновки; везде курился фимиам любви, и все питало удовольствиями любовь наших супругов.

«Боже мой! — говорила Юлия. — Как могут люди жить в городе! Как могут они выезжать из деревни! Там шум и беспокойство; здесь чистое, невинное удовольствие. Там вечное принуждение; здесь покой и свобода. Ах, друг

мой! — с умильным взором брала она Арисову руку и прижимала ее к своей груди. — Ах, друг мой! только в одной сельской тишине, в одних объятиях Натуры чувствительная душа может насладиться всею полнотою любви и нежности!»

В конце лета Юлия все еще хвалила сельскую жизнь, хотя и не с таким уже красноречием, не с таким жаром. Но за красным летом следует мрачная осень. Цветы и в поле, и в саду увяли; зелень поблекла; листья слетели с деревьев; птички… бог знает, куда девались, и все стало так печально, так уныло, что Юлия потеряла всю охоту хвалить деревенское уединение. Арис приметил, что она, смотря в окно, часто закрывала белым платком алый свой ротик и что белый платок, как будто бы от веяния Зефира, поднимался на нем и опускался — то есть, сказать просто, Юлия зевала! Арис вздохнул, взял том «Новой Элоизы», развернул и прочитал несколько страниц… о блаженстве взаимной любви. Юлия перестала зевать, слушала и наконец сказала: «Прекрасно! только знаешь ли, мой друг? Мне кажется, что Руссо писал более по воображению, нежели по сердцу. Хорошо, если бы так было; но так ли бывает в самом деле? Удовольствие счастливой любви есть, конечно,

первое в жизни; но может ли оно быть всегда равно живо, всегда наполнять душу? может ли заменить все другие удовольствия? может ли населить для нас пустыню? Ах! сердце человеческое ненасытимо; оно хочет беспрестанно чего-нибудь нового, новых идей, новых впечатлений, которые, подобно утренней росе, освежают внутренние чувства его и дают им новую силу. Например, я думаю, что самая пылкая любовь может простыть в совершенном уединении; она имеет нужду в сравнениях, чтобы тем более чувствовать цену предмета своего». Арис вздохнул и сказал: «Я не так думал; но… мы завтра едем в город!»

Юлия снова явилась в свете, и с новым блеском красоты своей, с богатством, с пышностию; довольно — свет принял ее с рукоплесканием, и розы со всех сторон посыпались на Юлию. Веселье за весельем, удовольствие за удовольствием — так, как и прежде, — с тою разницею, что замужняя женщина имеет еще более удобности наслаждаться всеми приятностями светской жизни.

Героиня наша хотела жить открытым домом, и, по крайней мере, четыре раза в неделю ужинало у нее 30 или 40 человек. Арис молчал; делал

все, что ей угодно было. Юлия чувствовала сию нежность и, оставаясь с ним наедине, награждала его за то восхитительными своими ласками. «Не правда ли, друг мой, — говорила она с прелестною улыбкою, — что городские забавы и разнообразие предметов еще более оживляют любовь нашу? Сердце мое, утомленное светским шумом, наслаждается покоем в твоих объятиях». Арис вздыхал так тихо, что Юлия не слыхала того.

Но однажды ввечеру Арис изменился в лице: между гостями, приехавшими к Юлии, увидел он князя N*! Сердце его затрепетало; однако ж, через несколько минут, сие невольное движение укротилось. Разум сказал сердцу: молчи! и Арис подошел к князю с учтивым приветствием. Только во весь тот вечер боялся он пристально смотреть на Юлию, чтобы не привести ее в замешательство; чтобы она не перетолковала его взоров в худую сторону и не нашла в них какого-нибудь подозрения, беспокойства, неудовольствия.

После ужина, когда все разъехались, Юлия села на софу, взяла Ариса за руку и сказала ему с улыбкою: «Ты видел, мой друг, с какою холодною учтивостию обходилась я с князем N*.

Не принять его, отказать ему от дому было бы с моей стороны неблагоразумно. Пусть видит этот легкомысленный Нарцисс, что он мне ничего; что прошедшее заблуждение не оставило в душе моей никаких следов; что я не имею причины бояться сердца своего и что он не может привести меня в краску». Арис, Арис поцеловал ее руку и отдал справедливость благоразумию супруги своей!

Через два дни опять ужин, и князь опять явился вместе с прочими гостями; был весел, забавен; говорил с хозяйкою более, нежели с кем-нибудь; о хозяине не думал; взглядывал на него почти с презрением и вел себя как должно модному человеку. Коротко сказать, он не пропускал случая быть у Юлии. «Как весело в ее доме!» — говорили мужчины и женщины. «Хозяйка любезна, как ангел», — говорили первые. «Милый князь N* разливает вокруг себя удовольствие», — говорили последние. Между тем начались толки. Одни с усмешкою смотрели на Ариса; другие пожимали плечами. «Чему дивиться? — шептали друг другу на ухо, — старая дружба! Теперь же и менее опасности. Муж тих, скромен — и все с концом!»

Арис не переменялся в рассуждении Юлии; но скоро увидел в ней перемену. Иногда она за-

думывалась, бледнела, хотела быть одна; через час лицо ее покрывалось нежнейшим румянцем: она бросалась в объятия супруга своего, целовала его с жаром, хотела что-то сказать и не говорила ни слова. Скромный Арис также молчал; иногда слезы катились из глаз его, но кто был их свидетелем? тихое уединение; самая густая аллея в саду его, которая, после Юлии, сделалась ему всего милее. Арису казалось, что хладные тени ее с чувством прикасались к его сердцу и согревались его теплотою.

В один день, перед вечером, он приехал домой и спешил в любимую свою аллею; входит — и видит князя N*, сидящего на дерновом канапе подле Юлии, которая, опустив голову на плечо к нему, смотрела в землю. Он целовал ее руку и говорил: «Ты меня любишь, и я должен умереть в твоих объятиях! Юлия! тебе ли иметь предрассуждения? Следуй влечению своего сердца; следуй…» Но Юлия услышала шорох, взглянула — и затрепетала… Пусть всякой вообразит себя на месте бедного Ариса!.. Что делать? Заколоть их одним кинжалом; утолить кровию жажду справедливого мщения; а потом… умертвить и самого себя? Нет! Арис сражался с собою не долее минуты; она была ужасна, но он усмирил кипящее сердце

и скрылся! Человек, который видел его, выходящего из аллеи, сказывал мне, что лицо его было бледно, как полотно; что ноги его приметно дрожали; что из сердца его, как будто бы насильно, вырывался какой-то глухой стон; что он, взглянув на небо и вздохнув несколько раз сряду, вдруг пошел скорыми шагами.

В тот же вечер принесли к Юлии следующее письмо: «Я не нарушил данного слова; не оскорбил тебя ни жалобою, ни укоризною; надеялся на силу нежности и любви моей, обманулся и должен терпеть! После того, что я видел и слышал, нам нельзя жить вместе. Не хочу обременять тебя моим присутствием. Права супружества несносны, когда любовь не освящает их. Юлия — прости! Вы свободны! забудьте, что у вас был супруг; долго или никогда об нем не услышите! Океан разделит нас. Не будет у меня ни отечества, ни друзей; будет одно чувство, для горести и меланхолии! В приложенном пакете найдете бумагу, по которой можете располагать моим имением; найдете еще портрет — бывшей супруги моей… Нет, я возьму его с собою; буду говорить с ним как с тению умершего друга; как с единственным и последним милым предметом умирающего сердца!»

Надобно знать, что Юлия, увидев Ариса в аллее, несколько минут сидела безмолвно; потом бросилась вслед за ним, назвала его два раза именем… голос ее прервался, ноги подогнулись — она должна была опереться на плечо князю и едва могла дойти до дому. Там, не видя Ариса, упала на софу, закрыла лицо руками и не говорила ни слова. Тщетно приступал к ней услужливый князь, тщетно старался успокоить ее — она молчала.

Дрожащею рукою схватила Юлия письмо Арисово, прочитала его, и слезы в три ручья покатились из глаз ее. Князь хотел взять письмо. «Постой! — сказала она твердым голосом. — Ты не можешь его читать: оно писано добродетельным! Туман рассеялся — и я презираю себя! О женщины! вы жалуетесь на коварство мужчин: ваше легкомыслие, ваше непостоянство служит им оправданием. Вы не чувствуете цены нежного, добродетельного сердца; хотите нравиться всему свету, гоняетесь за блестящими победами и бываете жертвою суетности своей[15]. Государь мой! вы видите меня в последний раз. Обманы-

[15] Сноски: 15

«У места ли такая выходка? — скажет критик, — может ли женщина в таком случае проповедовать добродетель?» Может, — отвечаю ему, — может, может! а доказательство… объявлю после. (*Примеч. автора.*)

вайте других женщин, смейтесь над слабыми; только прошу забыть, оставить меня навсегда. Я не обвиняю никого, кроме собственной безрассудности моей. В свете не будет вам недостатка в удовольствиях; но я гнушаюсь вами и всеми подобными вам. Клянусь самой себе, что отныне дерзкий порок не осмелится взглянуть мне прямо в глаза. Дивитесь скорой перемене; верьте ей или не верьте — для меня все одно». Сказала и, как молния, исчезла.

Князь стоял, подобно неподвижной статуе; наконец опомнился, засмеялся — искренно или притворно, оставим без решения, — сел в карету и поехал в спектакль.

Юлия, узнав, что Арис уехал из Москвы неизвестно куда и только с одним камердинером, сама немедленно оставила город и удалилась в деревню. «Здесь протекут дни мои в безмолвном уединении, — сказала она со вздохом. — Сельский домик! я могла, но не умела быть счастлива в тихих стенах твоих; я вышла из тебя с достойнейшим, нежнейшим супругом; возвращаюсь одна, бедною вдовою, но с сердцем, любящим добродетель. Она будет моим утешением, моим товарищем, моею подругою; я буду рассматривать, буду целовать образ ее в чертах незабвен-

ного Ариса!» — В сию минуту слезы ее капали на портрет его, который она в руках держала.

Надобно отдать справедливость вам, любезные женщины: когда вы на что-нибудь решитесь, не в минуту легкомыслия, не словом, но душою и с глубоким чувством истины — твердость ваша бывает тогда удивительна; и славнейшие герои постоянства, которых до небес возносит история, должны разделить с вами лавры свои.

Юлия, которая на тоненький волосок была от того, чтобы сделаться новою Аспазиею, новою Лаисою, Юлия сделалась вдруг ангелом непорочности. Все суетные желания замерли в ее сердце; она посвятила жизнь свою памяти любезного супруга; воображала его стоящего перед собою; изливала перед ним свои чувства; говорила: «Ты меня оставил, ты имел право оставить меня; не смею желать твоего возвращения — желаю только спокойствия любезной душе твоей; желаю, чтобы ты забыл супругу свою, если образ ее мучит твое сердце. Будь счастлив, где бы ты ни был! Со мною милая тень твоя; со мною воспоминание любви твоей — я не умру с горести! Хочу жить, чтобы ты имел в свете нежного друга. Может быть, посредством тайной симпатии, сердце твое, невзирая на разлуку, на пространство,

которое нас разделяет, согреется, оживится моею любовию; может быть, погруженному в тихий сон, веющий Зефир скажет тебе: *Арис не один в мире*. Откроешь милые глаза свои и вдали, в тумане увидишь горестную Юлию, которая следует за тобою своим духом, своим сердцем; может быть… ах! я против воли своей желаю… Нет, нет! хочу обожать его без всякой надежды!»

В душе ее царствовало тихое уныние, более приятное, нежели мучительное. Добродетельные чувства несовместны с тоскою: самые горькие слезы раскаяния имеют в себе нечто сладкое. Прекрасна и заря добродетели; а что иное есть раскаяние?

Скоро Юлия узнала, что она беременна; новое, сильное чувство, которое потрясло душу ее! Радостное или печальное? Юлия несколько времени сама не могла разобрать идей своих. «Я буду матерью?.. Но кто возьмет на руки младенца с нежною улыбкою? Кто обольет его слезами любви и радости? Кому я скажу: *вот сын наш! Вот дочь наша!* Несчастный младенец! ты родишься сиротою, и образ горести будет первым предметом открывающихся глаз твоих! Но… так угодно провидению! Новая обязанность жить и терпеть без роптания! Родись, милый

младенец! Сердце мое будет тебе отцом и матерью. Я утешусь для тебя и тобою; не оскорблю нежной души твоей ни горестными вздохами, ни мрачным видом! Одна любовь ожидает тебя в моих объятиях, и час твоего рождения обновит жизнь мою!»

Юлия хотела приготовить себя к священному званию матери. «Эмиль», книга единственная в своем роде, не выходил из рук ее. «Я не умела быть добродетельною супругою, — говорила она со вздохом, — по крайней мере, буду хорошею матерью и небрежение *одного* долгу заглажу верным исполнением *другого*!»

Она считала дни и минуты; пристрастилась заранее к милому младенцу, еще невидимому; заранее целовала его в мыслях своих, называла всеми нежными именами, и всякое его движение было для нее движением радости.

Он родился — сын, прекраснейший младенец, соединенный образ отца и матери. Юлия не чувствовала болезни, не чувствовала слабости; им, им только занималась, им дышала; плакал — улыбалась, чтобы заставить его улыбнуться, и сердце ее, вкусив сладкие чувства матери, открыло в себе новый источник радостей, чистейших, святых, неописанных радостей. Не уставали

глаза ее, смотря на младенца: не уставал язык ее, называя его тысячу раз *любезным, милым сыном*! Огнем любви своей согревала она юную душу его; наблюдала ее начальные действия, от первой слезы до первой его усмешки, и вливала в него нежными взорами собственную свою чувствительность. Нужно ли сказывать, что она сама была кормилицею своего сына?

Юлии казалось, что все предметы вокруг ее переменились и сделались ласковее. Прежде она не выходила почти из комнаты своей; открытое небо, пространство, необозримые равнины питали в ее душе горестную идею одиночества. *«Что я в неизмеримой области творения?»* — спрашивала она у самой себя и погружалась в задумчивость. Шум реки и леса увеличивал ее меланхолию, веселье летающих птичек было чуждо ее сердцу. Теперь Юлия спешит показывать маленького любимца своего всей Натуре. Ей кажется, что солнце светит на него светлее; что каждое дерево наклоняется обнять его; что ручеек ласкает его своим журчанием; что птички и бабочки для его забавы порхают и резвятся. *«Я мать»*, — думает она и смелыми шагами идет по лугу.

Удовольствия, которых Юлия искала некогда

в свете, казались ей теперь ничтожным, обманчивым призраком в сравнении с существенным, питательным наслаждением матери. Ах! она была бы совершенно счастлива, если бы мысль о горестном Арисе не тревожила ее сердца. «Я проливаю радостные слезы, — говорила она самой себе, — я наслаждаюсь в то время, когда он в горестном уединении скитается по свету, упрекая себя любовию к недостойной супруге! Какой ангел известит его о перемене моего сердца? Юлия могла бы… так, в присутствии самого неба осмелюсь сказать, что Юлия могла бы теперь загладить перед ним вину свою!.. Но, он не знает; он воображает меня в объятиях порока, воображает меня мертвою для всех чувств добродетели!.. Пусть он возвратится хотя на минуту; хотя для того, чтобы видеть нашего сына! Пусть он, сказав: *ты не достойна им веселиться,* — возьмет его у меня! Я рада лишиться всех утешений, чтобы утешить оскорбленного супруга моего… рада быть несчастлива для его благополучия! А он будет счастлив; с ангелом красоты и невинности забудет все печали!»

Между тем маленький Эраст[16] расцветал,

---

[16] Сноски: 16
Имя сына ее. (*Примеч. автора.*)

как розан; он мог уже бегать по лугу; мог говорить Юлии: *люблю тебя, маменька!* мог ласкать ее с чувством и нежными ручонками отирать приятные слезы, которые часто катились из глаз ее.

Однажды весною — время, которое всегда напоминало Юлии первую весну замужества ее, — она пошла гулять с маленьким своим Эрастом, села на цветущем пригорке близ дороги и, между тем как младенец резвился и прыгал вокруг ее, сняла с груди своей портрет Арисов и рассматривала его с умилением. «Таков ли он теперь? — думала Юлия. — Ах, нет! черты его, конечно, переменились. Когда живописец изображал их, он сидел против меня, смотрел на меня с любовию, был весел и счастлив! А теперь… теперь…» — Взор Юлиин помрачился. Она задумалась, и легкий сон закрыл на минуту глаза ее.

Беспокойная душа видит и мечты беспокойные[17]: Юлии представилось во сне необозримое море, которое шумело и пенилось под черными тучами; излучистые молнии сверкали во мраке, страшные громы гремели, и ужас носился всюду на крыльях бури. Вдруг показывается корабль —

---

[17] Сноски: 17

Ужасный сон бывает перед счастливым событием, — говорит гишпанская пословица; я воспользовался ею для окончания моей повести. (*Примеч. автора.*)

игралище, жертва волн разъяренных, исчезает в пропастях кипящей влаги и снова является, чтобы навсегда погрузиться в бездне… Злополучные мореплаватели! Юлия, сидя на кремнистой скале, видит гибель их и страдает в чувствительном сердце своем. Сильный вал несется к берегу, выбрасывает на песок человека и удаляется. Юлия спешит к несчастному, хочет оживить его и узнает в нем Ариса, хладного, мертвого. Она трепещет, пробуждается… и видит Ариса наяву: он в ее объятиях, и навеки!

Я знаю слабость пера своего, и для того не скажу более ни слова о сем редком явлении; ни слова о первых восклицаниях, непосредственно вылетевших из глубины сердца; ни слова о красноречивом безмолвии первых минут; ни слова о слезах радости и блаженства!.. Чтобы живее представить себе картину, читатель вообразит еще маленького Эраста, которого Юлия взяла на руки и подала Арису. Младенец, наученный природою, ласкал отца своего и смотрел с улыбкою на Юлию[18].

---

[18] Сноски: 18

Откуда взялся Арис? — спросят любопытные. Он несколько лет странствовал по чужим землям. Верный друг, оставленный им в Москве, уведомлял его о Юлии. Наконец, уверившись в ее добродетели, летел он к обожаемой супруге, сказать ей: *я не переставал обожать тебя!* (*Примеч. автора.*)

Уже три года живут они и деревне, живут как нежнейшие любовники, и свет для них не существует. Арис не переменился; он всегда был деятельным мудрецом. Но Юлия примером своим доказала, что легкомыслие молодой женщины может быть иногда покрывалом или завесою величайших добродетелей.

Нежность Арисова так далеко простирается, что он не позволяет Юлии описывать черными красками прежнего ее ветреного характера. «Ты рождена быть добродетельною, — говорит Арис, — нескромное желание нравиться, плод безрассудного воспитания и худых примеров, произвело минутные твои заблуждения. Тебе надлежало только один раз почувствовать цену истинной любви, цену добродетели, чтобы исправиться и возненавидеть порок. Ты удивляешься, друг мой, для чего я молчал и не хотел говорить тебе о следствиях ветрености твоей: я был уверен, что укоризны могут скорее ожесточить сердце, нежели тронуть его чувствительность. Нежное терпение со стороны мужа есть в таком случае самое действительнейшее средство. Выговоры, упреки заставили бы тебя думать, что я ревнив; ты почла бы себя оскорбленною — и сердца наши могли бы навсегда удалиться друг от друга.

Следствие доказало справедливость моей системы. Разлука казалась мне последним способом, который должно было употребить для твоего исправления. Я оставил тебя на суд собственного твоего сердца — признаюсь, не хладнокровно, не без мучительной горести, — но луч надежды питал и не обманул меня! ты моя, совершенно и навеки!»

Иногда Юлия вооружается против женщин; Арис их защитник. «Поверь мне, друг мой, — говорит он, — поверь, что порочные женщины бывают от порочных мужчин; первые для того дурны, что последние не стоят лучших».

Арис и Юлия могут не соглашаться в разных мнениях; но в том они согласны, что удовольствие счастливых супругов и родителей есть первое из всех земных удовольствий.

1794